

Д. В. СТОКПУЛЬ



ПОЛУБЯ
ДАГУНА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. МОСКВА.

Беллетристика.

Келлерман, М. Море. Стр. 223.

Лондон, Дж. Белый Клык. Стр. 231.

" " Приключения рабочего патруля. Бог его отцов. Стр. 246.

" " Мои скитания. Стр. 204.

" " Голос крови и др. рассказы. Стр. 229.

" " Морской волк. Стр. 321.

" " Как я стал социалистом. Стр. 84.

Ляшко, Н. Рассказ о кандалах. Стр. 27.

Леруа-Скотт. Секретарь профессионального союза. Стр. 438.

Ноульс, Д. Два месяца в десах. Стр. 156.

Никитин, Н. Рвотный форт. Изд. 1922 г. Стр. 297.

Сверский, Г. Вечные странники. Записки коммуниста-волежца. Стр. 76.

Сенников, Г. Сенька-Воробей. Степан-Бублик. Егорушко-Ротозей. Отроки, невинно убиенные. Стр. 24.

Синклер, И. Сильвия. Стр. 273.

" " Машина. Стр. 273.

Орешин, П. Корявый. Рассказы. Изд. 1922 г. Стр. 128.

Шмелев, И. Человек из ресторана. Стр. 152.

Поэзия.

Антокольский, Н. Стихотворения. Стр. 42.

Бальмонт, К. Революционная поэзия Европы и Америки. Стр. 57.

" " Песня рабочего молота. Стр. 30.

Бедный, Д. Отцы духовные. Стр. 107.

" " Читай, Фома, набирайся ума. Для юных грамотеев. Стр. 64.

" " О Митьке-бегунице и его конце. Стр. 39.

Брюсов, В. Дали. Стихи. Стр. 87.

" " Кругозор. Избранные стихи. (1833—1922.) Изд. 1922 г. Стр. 331.

Верхарн, Э. Полное собрание поэм. Т. II. Перевод Г. Шенгеля. Вечера. Разгромы. Черные факелы. Стр. 78. Полное собрание поэм. Перевод Г. Шенгеля. Т. VI. Многообразное сияние. Стр. 65. Черные факелы. Перев. В. Федорова. Стр. 41. Стихи. Перев. В. Федорова. Стр. 128.

Герасимов, М. Железное цветение. Стихи. Изд. 1923 г. Стр. 127.

Доль. (Красное жало.) История Красного Октября. Сатира в стихах. С рисунк. С. М. Маклецова. Стр. 64.

Есенин, С. Избранное. Стихи. Стр. 113.

Касаткин, И. Тяпа. Сказка в стихах. С иллюстр. П. Алякринского. Изд. 1922 г. Стр. 89.

БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ

Де-Вэр-Стэкпуль

ГОЛУБАЯ ЛАГУНА

РОМАН

ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО ПОД РЕДАКЦИЕЙ
Вл. А. ПОПОВА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1923 ПЕТРОГРАД

Гиз. № 3580.

Главлит. № 4651. Москва.

Напеч. 10.000 экз.

„Мосполиграф“. 1-я Образцовая типография. Пятницкая, 71.



Голубая лагуна.

I. В чаду керосиновой лампы.

! Матрос Падди Беттон, сидя на ящике, со скрипкой под левым ухом, наигрывал старинную песенку, усиленно отбивая такт левой ногой. {

Он был одет в матросские штаны, полосатую рубашку и старую куртку, позеленевшую местами от солнца и соли. Это был типичный старый моллюск, с сутулой спиной и крючковатыми пальцами, всем своим обликом смахивающий на краба.

Лицо его напоминало полную луну, багровеющую за дымкой тропических туманов; в данную минуту оно выражало напряженное внимание, как будто скрипка рассказывала ему куда более чудесные сказки, чем старая избитая повесть о бухте Бантри.

«Левша-Бат», — так звали его товарищи, не потому, чтобы он точно был левшой, а потому, что он, попросту говоря, все делал шиворот-навыворот. За что ни возьмется, можно быть уверенным, что дело у него не выгорит.

Он был кельт, и все соленые моря, по которым он плавал в течение сорока с лишним лет, не смыли кельтского начала в его крови, ни веры в волшебниц в его душе. Кельтская природа — прочная краска, и нужды нет, что Беттон напивался пьяным в большинстве портов света и плавал с капитанами янки, все же он продолжал всюду таскать с собой своих волшебниц, да еще и немалую толику первородной невинности в придачу.

Над головой музыканта болталась нога, свисавшая с гамака; там и сям в полумраке виднелись другие гамаки, напоминавшие лемуринов и летучих мышей. Керосиновая лампа, покачиваясь, освещала то босую ногу, то лицо, с торчащей изо рта трубкой, то мохнатую грудь, то татуированную руку.

Было это в те дни, когда новейшие усовершенствования еще не сократили личного состава на судах, и команда *Нортумберленда* представляла собой полную коллекцию морских крыс: были тут и голландцы, и американские фермеры, нахавшие землю и разводившие свиней в Огайо не дальше как три месяца назад, и старые моряки, как сам Падди Беттон, — помесь лучшего и худшего на земле, подобной которой нигде не найдешь на столь малом пространстве, кроме матросского трюма на корабле.

Нортумберланду пришлось пережить немало превратностей, пока он огибал мыс Горн. По пути из Нового Орлеана в Сан-Франциско он провел тридцать дней в борьбе с бурей в таком месте океана, где размаха трех волн хватает на целую милю; теперь же, в момент, когда начинается наш рассказ, он стоял без движения, застигнутый мертвым штилем.

Беттон закончил игру лихим взмахом смычка, отер лоб правым рукавом и набил законченную трубку.

— Патрик,— протянул голос из гамака, с которого свисала нога,— о чем это ты начал рассказывать сегодня?

— Этакая зеленая штука!—добавил сонный голландский голос с койки.

— О, это ты о Лепроконе. Ну, да, у сестры моей матери в Коннауте завелся Лепрокон.

— На что он был похож?—спросил сонный голландский голос, очевидно, зараженный штилем, принуждавшим всю команду к праздности.

— Похож? На Лепрокона, разумеется. На что же еще ему быть похожим?

— На что он был похож?—настаивал голос.

— Это был маленький человечек, ростом с крупную редьку и зеленый, как капуста. В доме моей тетки, в Коннауте, завелся Лепрокон в доброе старое время. Ох, ох, ох! доброе старое время! Верьте или не верьте, но его можно было бы засунуть в карман, и наружу торчала бы одна только зеленая голова. Держала она его в шкапу, но стоило оставить шелку открытой, он уж и пойдет гулять повсюду: и в кувшинах с молоком побывает, и под кроватью, да еще и стул из-под тебя выдернет,—только держись! А потом, как пойдет гонять свинью,—догоняет до того, что все ребра у нее выступят наружу, ни дать ни взять старый зонтик! А еще перемешает все яйца, так что петухи с курами в толк не возьмут, что за штука такая, когда из яиц ползут цыплята о двух головах, да с двадцатью семью ногами со всех концов. Станешь гнать его, да как разгонишься — и угодишь прямо в луку, а он тем временем прыг обратно в шкаф!

— Это был Трольз,—пробормотал тот же сонный голландский голос.

— Говорю тебе, это был Лепрокон, и чего-чего только он не придумывал! Вытащит из кипящего котла капусту и припечет тебе ею лицо; а протянешь к нему руку—глянь, в ней лежит золотой sovereign.

— Эх! Когда бы он был здесь!—протянул голос с одной из коек.

— Патрик!—произнес голос с верхнего гамака.—С чего бы ты начал, если бы у тебя оказалось двадцать фунтов в кармане?

— Что толку спрашивать?—отозвался Беттон.—На что двадцать фунтов моряку в море, где грог—одна вода, а говядина—одна конина? Дай мне их на суше, и посмотришь, что я с ними сделаю!

— Сдается мне, что продавцу грога не видать бы тебя, как своих ушей,—промолвил голос из Огайо.

— Да уж, конечно, не видать,—огрызнулся Беттон.—Будь проклят грог и тот, кто его продает.

— Легко говорить!—продолжал Огайо.—Клянись грог на море, когда его негде достать: посади тебя на берег, и нальешься по горло,



Падди Беттон сидел на ящике и наигрывал на скрипке старинную песенку.

— Люблю выпить,—сказал Беттон,—ничего греха таить! Но уж как залюблю—войдет в меня черт—и таки уходит меня бутылка, в конце-концов.

— Ну, что же,—заметил Огайо,—ведь не уходила же она тебя до сих пор!

— Нет,—отвечал Беттон,—но чему быть, того не миновать!

II. Под звездами.

Наверху стояла чудесная ночь, проникнутая величием и красотой звездного света и тропического покоя.

Тихий океан спал, едва всколыхнутый широкой мертвой зыбью, а там, вверху, у огненного свода Млечного Пути, повис Южный Крест, подобный сломанному воздушному змею.

Звезды на небе, звезды в море, миллионы и миллионы звезд; это множество лампад на небесном своде внушало мысль об огромном, многолюдном городе, а между тем, все это живое, пылающее великолепие было безмолвно.

Внизу, в каюте, находились три пассажира корабля; один читал за столом, двое играли на полу.

Сидевший у стола Артур Лестрэндж устремил большие ввалившиеся глаза в книгу. Он явно был в последнем градусе чахотки и прибегнул к длинному морскому путешествию, как к последнему отчаянному средству.

В уголке, баюкая лоскутную куклу и раскачиваясь в такт собственным мыслям, сидела его племянница, восьмилетняя Эмелина Лестрэндж,—маленькое для своих лет, загадочное создание себе на уме, с широко раскрытыми глазами, казалось, заглядывавшими в иной мир.

Под столом возился его собственный восьмилетний сынишка Дик. Они были бостонцы и направлялись в Лос Анджелос, где Лестрэндж приобрел ферму, чтобы погреться на солнце, в надежде, что долгое плавание продлит ему срок жизни.

Дверь каюты отворилась, и показалась угловатая женская фигура. Это была нянюшка Станнارد, и появление ее означало, что детям пора спать.

— Дикки,—сказал Лестрэндж, приподнимая скатерть и заглядывая под стол,—спать пора.

— Ох, нет еще, папочка!—протянул сонный голосок из-под стола,—не хочу спать! Ой-ой-ой!

Станнارد знала свое дело. Она нагнулась, ухватила его за ногу и потащила, несмотря на рев и брыканье.

Эмелина же, призвав неизбежное, встала на ноги, держа за одну ногу свою уродливую куклу, и стояла в ожидании до тех пор, как Дикки, после нескольких прерывистых воплей, внезапно отер слезы и протянул мокрое лицо отцу для поцелуя. Тогда она, в свою очередь, торжественно протянула лобик дяде и отправилась из каюты за руку с няней.

Лестрэндж снова взялся за книгу, но едва успел он прочесть несколько страниц, как дверь снова отворилась, и показалась Эмелина в ночной рубашке, с небольшим свертком в руке, завернутым в оберточную бумагу.

— Моя шкатулка!—сказала она вопросительно, и невзрачное личико ее внезапно превратилось в лицо ангела.

Она улыбнулась,—а когда Эмелина улыбалась, казалось, что ее освещает луч райского света. Это было видение чистейшей детской красоты.

Потом она исчезла с своей шкатулкой, и Лестрэндж снова засел за книгу.

Кстати сказать, эта шкатулка причиняла больше хлопот на корабле, чем весь пассажирский багаж вместе взятый.

Эмелина получила ее в подарок от одной дамы при отъезде, и никто не знал, что в ней содержится, кроме нее самой и дяди.

Беда была только в том, что она то и дело теряла свое сокровище. Боясь расстаться с ним, она вечно таскала его с собой; бывало, усядется за свертком каната и призадумается, потом встрепетает при виде каких-нибудь маневров матросов, вскочит посмотреть, хватится шкатулки—а ее и след простыл.

Тогда она принималась обыскивать весь корабль, с убитым лицом и широко раскрытыми глазами, заглядывая во все уголки, как беспокойное привидение, не говоря ни слова.

Ей словно было стыдно сказать кому бы то ни было о своей потере. Тем не менее, все знали о ней, и все принимались искать шкатулку. И странно сказать, находил ее обыкновенно Падди Беттон. Дело в том, что Беттон, такой неумелый в глазах взрослых людей, в глазах детей был непогрешим.

Немного погодя, Лестрэндж закрыл книгу и поднял глаза на зеркало.

Лицо его поражаало своей худобой. Возможно, что именно в эту самую минуту он впервые понял, что обречен на смерть, и скорую смерть.

Он отвернулся от зеркала и просидел некоторое время, уставившись на червильное пятно на столе; затем встал и медленно поднялся на палубу.

Когда он облокотился на перила, чтобы перевести дыхание, великолепие южной ночи агучей болью вонзилось ему в сердце. Он сел и стал смотреть на Млечный Путь, эту триумфальную арку, воздвигнутую из солнц, которую первый луч зари сметает, как сновидение.

На Млечном Пути, близ Южного Креста, виднеется грозная закрученная бездна—Угольный мешок. Она так сильно напоминает темную пещеру, что при виде ее, у человека с воображением мутится в голове. Для невооруженного глаза она черна и уныла, как смерть, но взгляни в телескоп, и увидишь мириады прекрасных звезд.

Глаза Лестрэнджа блуждали по небосводу, как вдруг он заметил, что по скамьям шагает какая-то фигура. Это был «Старик».

Капитан корабля всегда называется «Старином», каков бы ни был его возраст. Капитану Лефарку было лет сорок пять. Он был француз по происхождению, но американский гражданин.

— Не знаю, куда это девался ветер,—заметил он, приближаясь.— Должно-быть, проделал себе дыру в небе и удрал в мировое пространство.

— Долгое было плавание,—сказал Лестрэндж,—и думается мне, капитан, что мне предстоит путь еще более долгий... И не Сан-Франциско мой порт—я это чувствую...

— Бросьте об этом думать,—сказал капитан, усаживаясь рядом.— Что толку предсказывать погоду за месяц вперед? Теперь, раз мы попали

в теплую полосу, дело пойдет на лад, и вы будете совсем молодым к тому времени, как подойдем к Золотым воротам.

— Я думаю о детях,—сказал Лестрандж, как бы не слыша его.—Если что случится со мной до прибытия в порт, я попрошу вас об одном: распорядитесь с моим телом так, чтобы дети ничего не знали... Я все эти дни об этом думаю, капитан; эти дети ничего не знают о смерти.

Капитан неловко заерзал на скамье.

— Мать Эмелины умерла, когда девочке было два года. Отец ее—мой брат—умер до ее рождения. Дикки никогда не знал матери: она умерла при его рождении и, Боже мой, капитан! Смерть жестоко опустошила мое семейство! Удивительно ли, что я скрыл самое ее имя от двух дорогих мне существ?

— Да, да,—проговорил Лефарж,—это верно, все это очень печально!

— Когда я был ребенком,—продолжал Лестрандж,—нянюшка пугала меня рассказами о покойниках, пугала меня адом. Не могу выразить, насколько это отравило всю мою жизнь. Поэтому, когда эти два созданинца остались на моем попечении, я решил, что сделаю все возможное, чтобы уберечь их от ужаса смерти. Не знаю, хорошо ли я сделал, но я старался сделать к лучшему. У них была кошка, и раз как-то Дикки приходит ко мне со словами: «Папа, киска уснула в саду, и никак ее не разбудить». Тогда я повел его в цирк, и он позабыл о кошке. На другой день он снова спросил о ней. Я не сказал, что ее закопали в саду, а сказал, что она, вероятно, убежала. Через неделю он и думать о ней забыл — дети скоро забывают.

— Это верно,—подтвердил капитан.—А все же когда-нибудь да придется им узнать, что они должны умереть.

— Если час расплаты настанет для меня раньше, чем мы достигнем земли, и меня опустит в беспредельное море, я не хочу, чтобы их угнетала эта мысль. Скажите им, что я пересел на другой корабль, и доставьте их обратно в Бостон. У меня есть письмо к одной тамошней даме. В смысле земных благ они обеспечены. Так и скажите, что я пересел на другой корабль,—дети скоро забывают...

— Будь по-вашему,—сказал моряк.

III. Тень и пожар.

Был четвертый день штиля. На корме устроили навес для пассажиров, под которым Лестрандж пытался читать, а дети—играть. Зной и скука превратили даже Дикки в неопределенную, ворчливую массу, ленивую, как слизняк. Что касается Эмелины, то она совсем осовела. Лоскутная кукла валялась где-то на палубе, и даже шкатулка была позабита.

— Палочка!—вдруг крикнул Дик, забравшийся на перила.

— Что тебе?

— Рыбы!

Лестрандж подошел к нему и заглянул вниз. В смутной зелени моря двигалось что-то бледное и длинное,—что-то зловещее. Затем вынырнуло

второе существо. Лестрэндж рассмотрел глаза, темные плавники, длинное туловище и с дрожью призвал к себе Дикки.

— Славная какая, правда? — воскликнул мальчик. — Я бы вытащил ее на корабль, будь у меня крючок. Отчего у меня нет крючка, папочка, отчего?

Кто-то дернул Лестрэнжа за платье. Эммелине также захотелось посмотреть. Он поднял ее на руки, но грозные тени уже исчезли, и зеленая глубь стала попрежнему незапятнанной и невозмутимой.

— Как их зовут, папочка? — настаивал Дик.

— Акулами, — сказал Лестрэндж, лицо которого покрылось испариной.

Он поднял свою книгу — это был том Теннисона — и уставился на залитую солнцем палубу.

Море показало ему грозное видение. Поэзия, красота, искусство, любовь и радость жизни — возможно ли, чтобы *эти* могли существовать в одном мире вместе с *теми*? Он взглянул на книгу, лежащую у него на коленях, и сравнил то прекрасное, что видел в ней, с тем ужасным, что дождалось позывы под килем корабля.

Было половина четвертого, и няня пришла за детьми. В эту минуту явился капитан Лефарж и остановился посмотреть влево, где показалась полоса тумана.

— Солнце слегка затуманилось, — сказал он, — надвигается туман. Видели вы когда-нибудь туман на Тихом океане?

— Нет, никогда.

— Ну, второй раз не захочется увидеть, — заметил моряк, и, заслонив глаза рукой, стал всматриваться вдаль. Уже линия горизонта утратила свою ясность, и день затмился едва заметной тенью.

Вдруг капитан повернулся, поднял голову и стал водить носом.

— Что-то горит где-то! Должно-быть, этот болван слуга. Вечно, если не бьет стекла, то опрокидывает лампы и прожигает дыры в ковре. — Он подошел к люку. — Эй, там, внизу!

— Здесь, сэр.

— Что там у вас горит?

— Ничего не горит, сэр.

— Говорю вам, я чувствую запах гари. Если не там горит, то где-нибудь на палубе, — может-быть, бросили тряпки в огонь?

— Капитан, — воскликнул Лестрэндж, — подойдите сюда. Не знаю, помутилось ли у меня в глазах от слабости, но только мне чудится что-то странное у грот-мачты.

В том месте, где грот-мачта входит в палубу, и на некотором протяжении вверх ствол ее казался в движении. Это мнимое движение происходило от спирали дыма, настолько прозрачного, что угадать о нем можно было только по похожему на мираж трепету обвиваемой им мачты.

— Что такое! — крикнул Лефарж, бросаясь вперед.

Лестрэндж медленно последовал за ним, ежеминутно останавливаясь, чтобы ухватиться за перила и перевести дух. Он услышал пронзительный звук свистка, видел матросов, закипевших на палубе, как рой пчел, видел;

как открыли люк и к небу потянулся столб дыма—черного, зловещего дыма, подобного неподвижному султану в неподвижном воздухе.

Лестрэндж был чрезвычайно нервный человек, и этого-то пошиба люди и сохраняют самообладание в минуты опасности, когда хладнокровные и уравновешенные люди окончательно теряются. Первая его мысль была о детях, вторая—о лодках.

В бурю у мыса Горна *Нортумберленд* растерял часть своих лодок. Остались два баркаса и шлюпка. Он слышал, как Лефарж приказал людям запереть люк и стать на насосы, чтобы затопить трюм, и зная, что ему на палубе делать нечего, поспешил вниз, насколько хватило сил.

Навстречу ему из детской каюты вышла няня.

— Дети легли спать?—спросил он, задыхаясь от волнения и утомления.

Женщина испуганно взглянула на него. Он показался ей подлинным глашатаем несчастья.

— Если да, и если вы их раздели, то надо поскорей снова одеть их. На корабле пожар. Слушайте!

Издали, звуча жидко и тухло, как крик чаек на пустынном берегу доносилось чавканье качавших воду насосов.

IV. Развеялся, как греза.

Не успела Станнارد произнести ни слова, как вниз по трапу спустились шумные шаги, и в салон бурно ворвался Лефарж. Лицо его было налито кровью, глаза смотрели стеклянним взглядом, как у пьяного, и жилы на висках вздулись, как веревки.

— Готовьте детей!—крикнул он, бросаясь к себе в каюту.—Будьте все на-готове,—снарижают лодки. Проклятие! Куда девались бумаги?

Им слышно было, как он яростно роется у себя в каюте, разыскивая те бумаги, которыми хозяин корабля дорожит больше жизни; и, собирая их, он продолжал выкрикивать приказания относительно детей. Он казался помешанным, и действительно наполовину обезумел при мысли об одном ужасном грузе, который находился в трюме...

На палубе, под командой штурмана, матросы делали свое дело, не подозревая о том, что скрывалось в трюме. С лодок сняли покрышки и поместили в них боченки с водой и мешки с сухарями. Шлюпка уже висела у баканцев, и Падди Беттон укладывал в нее боченок с водой, когда на палубу взбежал Лефарж. За ним спешила Станнارد с Эмmeliной на руках, и Лестрэндж, державший Дика за руку. Шлюпка была более крупных размеров, чем обыкновенно, и снабжена небольшой мачтой и люгерным парусом. Беттон только-что норовил повернуть обратно, когда капитан схватил его за плечи.

— В шлюпку, живо!—крикнул он,—и гребь, что есть духу, отведи детей с пассажирами за милю, две мили, три мили от судна...

— Но, капитан, я оставил скрипку...

Лефарж толкнул старого матроса, как бы желая швырнуть его в море. Минуту спустя. Беттон был уже в лодке. Ему подали Эмmeliну, которая

прижимала к груди что-то, завернутое в старый платок, затем Дика, после чего помогли спуститься и самому Лестрэнджу.

— Нет больше места!—крикнула Лефарж.—Спускайте, спускайте!

Шлюпка скользнула к тихому голубому морю, поцеловалась с ним и поплыла.

Надо вам знать, что при отбытии из Бостона, Беттон много околачивался на набережной, благодаря тому, что ему не на что было пойти в трактир. Поэтому-то он кое-что проведаль про груз корабля, чего не знали остальные. Не успел он взяться за весла, как это сознание озарило его ум убийственным светом. Он гикнул так, что оба матроса спускавшие шлюпку, перегнулись через борт.

— Ребята!

— Ну, что там?

— Спасайся кто может,—я сейчас вспомнил—в трюме два боченка с порохом!

Потом навалился на весла, как никто еще не делал до него.

У Лестрэнджа потемнело в глазах. Дети ничего не знали о порохе, и, хотя слегка испуганные переполохом, находили очень забавным сидеть в лодке, так близко к синему морю.

Дик опустил палец в воду, чтобы почувствовать, как она струится—любимое развлечение детей,—а Эмелина, вложив ручонку в руку дяди, наблюдала за Беттоном со степенным удовольствием.

И точно, было на что посмотреть. Душа старого матроса была полна трагического ужаса. Кельтское воображение уже слышало взрыв судна, видело шлюпку и самого себя разорванным на кусочки,—мало того, видело ад и чертей, жгущих грешное его тело.

Но злополучное—а может быть, и счастливое—его лицо не было способно выражать ужаса трагедии. Он пыхтел и надрывался, надувая щеки, наваливаясь на весла, корча невероятные рожи, но все эти действия, вызванные душевной мукой, однако, нимало не выражали ее. Позади виднелся корабль, рядом с которым уже качались на волнах оба баркаса.

Люди сыпались через борт, как водные крысы, барахтались в воде, как утки, карабкались, как попало, в баркасы. Из полукрытого люка тлился черный дым, теперь уже смешанный с искрами, вздымаясь быстро и злобно, как если бы вырвался из стиснутых челюстей дракона.

А за милю от *Нортумберленда*, позади, стояла стена тумана. Она казалась плотной, походила на диковинную страну, внезапно выросшую из океана,—страну, в которой не росли деревья и не пели птицы. Страна с белыми отвесными утесами, непоколебимыми, как Дуврские скалы.

— Сил моих нет!—вдруг пробормотал гребец, оперев весла на колени, и ткнулся вперед головой, словно готовясь забодать пассажиров.—Пусть себе взрывается, как знает,—сил моих больше нет! Изнемогаю!

Лестрэндж, бледный как смерть, но несколько пришедший в себя, повернулся взглянуть на корабль. Последний казался уже далеко, и оба баркаса яростно спешили вслед за шлюпкой. Дик все еще играл с водой, но Эмелина была совершенно поглощена Беттоном. Ее созерцательный

ум всегда пленялся всем новым, а эти действия старого приятеля были для нее чем-то совершенно новым.

Она видела уже, как он моет палубу, как пляшет «джигу», как бегают на четвереньках по палубе с Диком на спине, но никогда еще не видела она его таким, как сегодня.

Теперь ей было ясно, что он устал и озабочен. Она порылась в кармане, достала апельсин и, нагнувшись вперед, прикоснулась им к голове «изнемогавшего».

Беттон поднял голову, на миг безмысленно уставился вперед, потом заметил апельсин; при виде его мысль о «детинках» с их невинностью, о нем самом и о порохе рассеяла туман, затмивший его помутившиеся мозги, и он снова приницлся за весла.

— Папочка,—сказал Дик,—у корабля облака!

С невероятной быстротой плотные скалы тумана рассыпались. Легкий ветерок пронизал их, свивая из них удивительные узоры. По воде двигались всадники и развевались, как дым, поднимались и разбивались воздушные валы; высокие спирали валов тянулись до самого неба. И все это с угрожающей медлительностью. Огромный, ленивый и зловещий, но неуклонный, как рок или смерть, туман надвигался, завоевывая, казалось, весь мир.

На этом невыразимо мрачном фоне выделялся тлеющий корабль, паруса которого уже вздрагивали от поднимавшегося ветра, в то время как дым из люка как бы кивал отплывающим лодкам, маня их к себе.

— Отчего корабль так дымится?—спросил Дик.—Смотрите, и лодки плывут за нами,—когда же мы вернемся обратно?

— Дядя,—добавила Эмелина, всовывая ручонку в его руку и поглядывая в сторону корабля,—я боюсь.

— Чего, Эмми?—спросил он, притягивая ее к себе.

— Тех фигур,—проговорила она, прижимаясь к нему.

— Я думаю, можно здесь дожидаться остальных,—сказал Лестрэндж.— Мы достаточно далеко на тот случай, если... если что случится.

— Верно,—поддакнул гребец, тем временем успевший притти в себя. Пусть себе взрывается, как знает, нас не достанет.

— Папочка,—сказал Дик,—когда же мы вернемся на корабль? Я хочу чаю.

— Мы вовсе не вернемся, дитя мое,—сказал отец.—На корабле пожар: мы ждем другого корабля.

— А где же другой корабль?—спросил ребенок, оглядываясь.

— Его еще не видно,—отвечал несчастный отец,—но он придет.

Баркасы медленно приближались. Они казались тараканами, ползущими по воде. А вместе с ними, по сверкающей глади, ползла тусклая мгла, погонявшая ее блеск, как это бывает при солнечном затмении.

Тут на шлюпку налетел ветерок, почти незаметный, как ветерок из Лилипута, но холодный и затмевающий солнце. И в тот же миг туман поглотил далекое судно.

Необычайное это было зрелище. Меньше, чем в полминуты, деревянный корабль превратился в корабль из дымки, в прозрачный узор—всколыхнулся и исчез навсегда из глаз человека.

V. Голоса в тумане.

Солнце еще более потускнело, затем и совсем исчезло. Уже очертания баркасов становились туманными, и даже та часть горизонта, которая до сих пор оставалась ясной, сделалась теперь совсем невидимой.

Между тем, первый из баркасов приближался, и вскоре послышался голос капитана:

— Гей, шлюпка!

— Гей!—раздалось в ответ.

— Равняйся с нами!

Первый баркас приостановился грести, дожидаясь второго. Последний, и так уже очень тяжелый, был сильно перегружен.

Капитан Лефарж был возмущен поведением Падди Беттона, всполошившего всю команду, но ему было теперь не до взысканий.

— Переходите к нам, Лестрэндж,—сказал он, когда шлюпка поравнялась с ними,—у нас есть место для одного. Ваша няня во втором баркасе, который и без нее перегружен: лучше ей пересесть на шлюпку, где она может присматривать за малышами. Поскорей же, туман надвигается. Гей!—обратился он ко второму баркасу,—поторопитесь!

Второго баркаса внезапно как не бывало.

Лестрэндж пересел к капитану. Падди оттолкнулся от баркаса и поднял весла дожидаясь.

— Гей! гей!—продолжал кричать Лефарж.

— Гей!—прозвучало из тумана.

В тот же миг первый баркас и шлюпка исчезли из глаз друг-друга, поглощенные туманом.

Надо сказать, что достаточно было нескольких взмахов кормового весла чтобы шлюпка снова стала борт-о-борт с первым баркасом; но дело в том, что мысли Падди были заняты вторым баркасом, и надо же, чтобы его угрозило дать три мощных удара весел в том направлении, где он воображал, что находится последний.

Все последующее превратилось в одни только голоса, перекликавшиеся в тумане.

— Гей, шлюпка!

— Гей!

— Гей!

— Не кричите все сразу, я не знаю куда мне грести! Второй баркас, где вы там?

— Лево руля!

— Ладно, ладно!—кладя между тем руль направо, отозвался Беттон,—одна минутка, и я буду с вами.

Последовало несколько минут усиленной гребли.

— Гей! — прозвучало гораздо слабее прежнего. — Чего вы это гребете прочь от меня?

Последовало еще несколько взмахов весел.

— Гей!—раздалось еще слабее.

Падди Беттон поднял весла вверх.

— Чорт их возьми совсем! сдается мне, что это звал первый баркас. Он снова энергично заработал веслами.

— Падди,—послышался голос Дика, звуча, повидимому ниоткуда,— где мы теперь?

— В тумане, конечно!—где же нам еще быть? Ты только не бойся.

— Я не боюсь, но Эм вся трясется.

— Дай ей мою куртку,—сказал гребец, приостанавливаясь и скидывая куртку. А когда закутаешь ее, давай крикнем все трое вместе как следует.

Он протянул куртку, и невидимая рука взяла ее. В ту же минуту раздался оглушительный взрыв, потрясший небо и океан.

— Поехал!...—произнес Беттон,—и моя старая скринка вместе с ним. Не бойтесь, дети, это стреляют из пушки для забавы. А теперь, давайте все гикнем вместе. Готовы вы?

— Здесь!—отозвался Дик, подхватывавший все выражения матросов.

— Ге-е-ей!—завопил Падди.

— Гей! гей!—пискнули Дик и Эмелина.

Послышался слабый отклик, но трудно было определить, откуда он идет. Падди погреб еще немного, потом остановился. Было так тихо, что ясно слышался всплеск воды, рассеянной носом шлюпки при последнем взмахе весел. Затем все смолкло, и безмолвие сомкнулось вокруг них, подобно роковому кольцу.

Падавший сверху тусклый свет непрерывно менялся, в то время как шлюпка скользила в пластах тумана.

Большой морской туман не бывает однородным: густота его меняется, у него имеются свои улицы, свои просветы, в виде белых пещер, свои плотные утесы, и все это движется и перемещается как бы по мановению волшебника. Он также обладает тем колдовским свойством, которое усиливается с приближением ночи.

А солнце, когда бы только они могли его видеть, уже скрылось за горизонтом.

Снова они стали звать. Но ответа не было.

— Что толку реветь, как быки, когда имеешь дело с глухими тетерями,—сказал старый матрос, и тут же снова гикнул, но снова без результата.

— Падди,—послышался голос Эмелины,—мне страшно.

— погоди минутку, тут где-то на дне старый платок,—я заверну тебя в него.

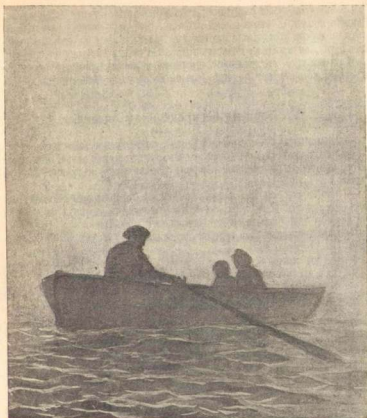
Он осторожно подполз к девочке и взял ее на колени.

— Не хочу платка,—сказала Эмелина,—мне не так страшно в вашей куртке.—Грубая, пропитанная табаком куртка, почему-то придавала ей мужества.

— Ну, ладно. А тебе не холодно, Дикки?

— Нет, я залез в папино пальто, он оставил его здесь.

Беттон стал вполголоса напевать ирландскую колыбельную песенку, которая сливалась в его памяти с дождем и ветром родного побережья, запахом горящего торфа, хрюканьем свиньи и поскрипыванием колыбели.



Шлюпка скользила в пласах тумана.

— Заснула,—тихо проговорил он, укладывая размякшую фигурку рядом с Диком. Потом сунул руку в карман за трубкой. Но трубка с табаком осталась в кармане куртки, а в куртке находилась Эммелина, которую не полагалось будить.

Теперь ко мгле тумана прибавилась ночная тьма. Греблю ничего не было видно. Он чувствовал себя заблудившимся душой и телом, боялся тумана, боялся призраков.

В таком-то тумане, в Дунбегской бухте обычно слышались крики и хохот сирен, сбивающих с пути несчастных рыбаков. Сирены не то, чтобы совсем зловредны, но у них зеленые волосы и зубы, рыбы хвосты и плавники вместо рук; и слышно только, как они шлепают по воде, как дососи, когда сидишь один в лодчонке. и ждешь, нет-нет, одна-таки хлопнется через борт,—нет, довольно и этого, чтобы поседеть в одну ночь...

С минуту он думал разбудить детей, но тут же устыдился своей мысли. Немного погодя, он снова взялся за весла. Их скрип казался ему голосом друга, и работа убавкивала его страхи. Время от времени, забывая о спящих детях, он пробовал подавать голос. Но ответа не было.

И он все греб, старательно, непрерывно, с каждым взмахом отдаляясь от лодок, которых ему никогда больше не суждено было увидеть.

VI. Заря на беспредельном океане.

— Никак заснул?—проговорил Беттон, внезапно просыпаясь.

Он только приостановился передохнуть, а проспал, как видно, несколько часов, ибо теперь дул теплый ветерок, светила луна, и тумана как не бывало.

— Что за сон мне приснился?—продолжал говорить сам с собой Беттон.—Где это я?.. Ох! ох, ох, беда! Мне снилось, что я уснул на люке, и что корабль взорвался, и все это оказалось правдой!

— Падди!—послышался голосок Эмелины.

— Что, деточка?

— Где мы теперь?

— Да в шлюпке на море, голубенок: где же нам быть еще?

— А дядя где?

— За нами в баркасе, вот-вот подоспеет.

— Я пить хочу.

Он налил воды в жестяной кувшин, привязанный к бидону, и дал ей напиться, после чего достал трубку и табак из кармана куртки.

Она тотчас опять уснула рядом со сияющим Диком, а старый матрос, уравновесившись на ногах, принялся осматривать горизонт. Нигде ни признака паруса или лодки. Возможно, однако, что, незаметные при обманчивом свете луны, лодки обнаруживаются при свете дня.

Но верно и то, что довольно нескольких часов, чтобы разъединить лодки на море на большое расстояние.

Нет ничего более таинственного, чем морские течения. Океан состоит из множества рек, одни из коих текут медленно, другие быстро; и за одну лигу от того места, где вы подвигаетесь со скоростью одной мили в час, другая лодка может их проделывать две.

Легкий ветерок рябил воду, смешивая звездный блеск с лунным; океан лежал ровный, как озеро, а между тем ближайший материк, быть-может, отстоял за тысячу миль.

Много дум передумал старый матрос, покуривая трубку под звездами. Потом снова начал клевать носом; когда же проснулся—луна уже закатилась. На востоке показался бледный веер света, и снова сменился тьмой. Но вот, внезапно огненный карандаш провел линию на восточном горизонте, и небо стало прекрасно, как лепесток розы. Огненная линия сосредоточилась в одно разрастающееся пятно—край восходящего солнца.

По мере того, как свет усиливался, небо окрашивалось в неопишемую синеву, передивчатую и сверкающую, как если бы она возникла из пыли

неосязаемых сапфиров. Тут все море осветилось, как арфа Апполона под перстами бога. Настало утро.

— Папочка!—вдруг крикнул Дик, садясь и протирая глаза руками.— Где это мы?

— Все ладно, сынок,—успокоил его старый матрос, тщетно обыскивавший горизонт глазами.—Твой папа цел и невредим. Он сейчас будет здесь и приведет нам другой корабль. А, и ты проснулась, Эмелина?

Девочка молча кивнула. Она не присоединила своих расспросов к расспросам Дика. Угадала ли она, что Беттон кривит душой, и что дело обстоит не совсем так, как он говорит? Почему знать?

На ней была старая шапочка Дика, которую няня вторюших нахлобучила ей на голову. Шапка съехала набекрень, и девочка являла довольно потешную фигуру в ней и старой выцветшей куртке Падди. Что касается Дика, то его соломенная шляпа валялась где-то на дне лодки, и золотистые кудри свободно развевались по ветру.

— Ура!—крикнул Дик, молотя подножкой о дно шлюпки.—Я буду моряком, правда Падди? Ты научишь меня поднимать парус и грести?

— Дело нехитрое,—сказал Падди, хватая его.—У меня нет ни губки, ни полотенца, но я попросту ткну тебя лицом в соленую воду и дам обсохнуть на солнце.

С этими словами, он набрал воды в черпак.

— Не хочу мыться!—закричал Дик.

— Окунай лицо в черпак,—скомандовал Падди.—Ведь не хочешь же ты быть чумичкой, не правда ли?

— Сам окунай туда лицо!—приказал тот.

Беттон повиновался и произвел булькающие звуки в воде; потом поднял кверху мокрое лицо и вывернул черпак за борт.

— А теперь твое дело пропало,—заявил хитроумный моряк,—воды больше нет.

— В море есть.

— А все-таки мыться нечем до завтрашнего дня,—рыбы не позволяют...

— Я хочу умыться,—ворчал Дик,—хочу окунуть лицо в черпак, как ты; да и Эмми тоже не умывалась.

— Мне не надо,—пролепетала Эмелина.

— Ну, куда ни шло, спрошу-ка я у акул,—объявил Беттон, как бы приняв внезапное решение. Он перегнулся через борт, почти касаясь лицом воды.

— Гей, там!—крикнул он, потом наклонил голову набок, прислушиваясь; и дети также заглянули за борт, стораая любопытством.

— Гей, там! да что вы там, заснули, что ли? А, да вот и вы! Тут у меня мальчонка с грязной рожицей хочет умыться, так нельзя ли мне зачерпнуть... О, покорно благодарю вашу честь,—доброго утра, ваша честь, мое почтение!

— Что сказала акула?—спросила Эмелина.

— Вот она что сказала: «Верите хоть целый боченок на доброе здоровье, мистер Беттон!—Очень жаль, что не могу преподнести вам рюмочку крепенького в такое прекрасное утро!» Потом засунула голову под пла-

ник и опять уснула; по крайней мере, мне слышно было, как она захрапела...

В шлюпке имелся большой мешок бисквитов и несколько жестянок с консервами, по большей части сардинками. Падди же имел про запас ножик, и не успели они оглянуться, как на скамейке уже оказалась откупоренная жестянка рядом с несколькими бисквитами. С водой и с апельсином Эмелины в придачу вышел настоящий пир.

Кончив есть, они припрятали остатки и занялись установкой мачты. После этого, матрос остался стоять около мачты, оглядывая беспредельную и безгласную синеву моря.

У Тихого океана три синевы: утренняя, полуденная и вечерняя. Но самая счастливая из них это синева утра: блестящая, неясная, новорожденная,—синева неба и прекрасной юности.

— Что ты высматриваешь, Падди?—спросил Дик.

— Чаек,—ответил хитрец; затем добавил про себя:—Ничего, хоть шаром покати! Ох, горемычный я! Куда повернуть: на север, на юг, на восток, на запад? И не все ли равно? Пойду на восток, а они окажутся на западе, пойду на запад,—окажутся на востоке. Да и не могу идти на запад, прямо ветру в зубы. Пойду на восток, и будь что будет!

Он поднял парус и поставил его по ветру. Потом переложил руль, удобно прислонился спиной и предался воле ветерка.

Отчасти в силу своей профессии, а отчасти и самого своего характера, он был так же спокоен, как если бы отпраивался с детьми на прогулку хотя, быть может, вел их навстречу голодной смерти.

Тихий океан все еще был скован одним из тех штилей, которые возможны только тогда, когда нет бурь на большом протяжении его поверхности. Ведь половина волнений на море причиняются не местными ветрами, а бурей на далеком расстоянии.

Но сон океана был только мнимым, и тихое озеро, по едва заметной ряби которого скользила шлюпка, разбивалось на берегу Маркизских островов с громом и пеной.

По одну сторону рулевого сидела Эмелина, баюкая свою безобразную, но обожаемую доскутную куклу. Дик, сидя по другую сторону, свесился над водой и высматривал рыб.

— Отчего вы курите, Падди?—спросила Эмелина, молча наблюдавшая за старым другом в течение нескольких минут.

— Чтобы на душе было легче,—объяснил Падди.

Он сидел, откинувшись назад и зажмурив один глаз, устремил другой на парус. Он чувствовал себя в своей стихии: знай себе, правь рулем и покуривай, в то время как тебя пригревает солнцем и прохлаждает ветерком. Многие на его месте сходили бы с ума от волнения, проклинали бы судьбу, взывали к Богу. Падди—курил.

— Ого-го!—крикнул Дик.—Смотри-ка, Падди!

Из сверкающих волн поднялся альбикор, перекувыркнулся в солнечном воздухе и исчез.

— Это альбикор дает козла. Видывал я их сотни раз. За ним гонятся.

— Кто за ним гонится?

— Кто? обедады, конечно, кому же еще?

Не успел Дик осведомиться о наружности и нравах последних, как стая серебрястых стрел пронеслась над шляпкой и с шипением погрузилась в воду.

— А это летающие рыбы.

— Что ты там толкуешь? Рыбы не могут летать!

— Где же у тебя глаза?

— И за ними тоже гонятся обедады?—боязливо спросила Эмелина.

— Вовсе не они! Да будет вам расспрашивать,—еще заврешься с вами.

Эмелина, между тем, не забывала о своем сокровище, которое прихватила с собой завернутым в старый платок; она засунула его под скамейку, и то и дело наклонялась посмотреть, цело ли оно.

Время от времени Беттон страховал оцепенение и поглядывал, не видать ли где «чаек», но море было пустынно, как доисторическое море. Когда Дик принимался хныкать, он тотчас придумывал ему какое-нибудь развлечение: см. стерил удочку из согнутой булавки и оказавшейся на дне шляпки бечевки,—и Дик, с трогательной детской верой, стал «удить рыбу».

Потом рассказывал им про себя, про свое детство.

— У моего дедушки был когда-то старый кабан. Был я тогда малышом, и бывало подойду к двери хлева, и он подойдет с той стороны, и хрюкает и дует в щель, а я со своей стороны хрюкаю ему назло, и молочу кулаком по двери и кричу: «Гей, там!» А он в ответ: «Гей, там!»—на своем свином языке. «Выпусти меня,—говорит,—и я дам тебе серебряный шиллинг».—«Подсунь его под дверь»,—говорю. Тогда он придет и сунет хрюкало под дверь, а я свистну его палкой, а он ну вопить не своим голосом. Тогда мать придет и вздует меня,—и по-делом!

Пообедали около одиннадцати часов, а в полдень Падди устроил навес из паруса над носом шляпки для детей; после этого уселся на корме, нагнул соломенную шляпу Дика на лицо в защиту от солнца, брыкнул раза два, чтобы устроиться поудобнее,—и уснул крепким сном.

VII. Ш-е-н-а-н-д-о-а.

Он спал уже более часу, когда его разбудил пронзительный крик Эмелины, которой привиделся страшный сон, под влиянием съеденных сардинок и разговора об «обедадах». Успокоив ее, Беттон поставил мачту в гнездо и приготовился было съеза поднять парус, как вдруг замер без движения при виде двух голых мачт, торчавших из воды, милях в трех расстоянии.

С полминуты он простоял молча, вытянув шею вперед, как черепаха. Потом вдруг испустил яростное: «Ура!»

— В чем дело, Падди?—спросил Дик.

— Ура!—кричал Беттон,—корабль! корабль! Гей, там—ждитесь меня! И точно, ждуть! Ни клочка паруса—что это они, спят, что ли? А ну-ка, Дик, помоги мне поставить парус. Ветер скорее доставит нас, чем весла.

Он перенюхал назад и взялся за румпель; ветер подхватил парус и, шляпка пустилась в путь.

— Это папин корабль?—спросил Дик, почти столь же взволнованный, как и его приятель.

— Не знаю! вот погоди, догоним его, тогда будем знать.

— А мы пересядем на него, Беттон?—спросила Эмелина.

— Непременно, деточка.

Тогда Эмелина нагнулась, вытащила из-под лавочки свой сверток и положила его к себе на колени.

По мере приближения, очертания судна становились определеннее. Это был небольшой бриг с толстенькими мачтами, на которых болтались обрывки парусов. Опытный глаз моряка вскоре разобрал, что дело неладно.

— Да он покинут, чтоб ему пусто было!—пробормотал он.—Не везет нам, что и говорить!

— Я не вижу людей на корабле,—воскликнул Дик,—и папочки там нет.

Когда до корабля осталось всего около двадцати кабельтовых, старый матрос вынул мачту из гнезда и взялся за весла.

Бриг глубоко сидел в воде и являл довольно-таки плачевный вид. Кое-где висели клочья парусов, у баканцев не было видно лодок: явно было, что в нем открылась течь, и что он был брошен экипажем.

Подойдя близко, Падди поднял весла. Корабль покачивался так же спокойно, как если бы стоял на якоре в гавани Сан-Франциско; в тени его вода сквозила зеленью, а в зеленой воде развевались нарощие на нем водоросли. Краска вся полопалась, как если бы по ней провели раскаленным утюгом, а через такаборт была перекинута длинная веревка, конец которой водочился в воде.

Несколько взмахов весел—и они очутились под кормой брига. Здесь еще сохранилась выцветшая надпись—имя корабля *Шенандоа*, и название его порта.

— На нем какие-то буквы,—сказал Беттон,—но я в них не разберусь.— Я человек темный.

— Я могу прочесть,—заявил Дик.

— Я тоже,—пролепетала Эмелина.

— Ш-е-н-а-н-д-о-а,—прочел Дик по складам.

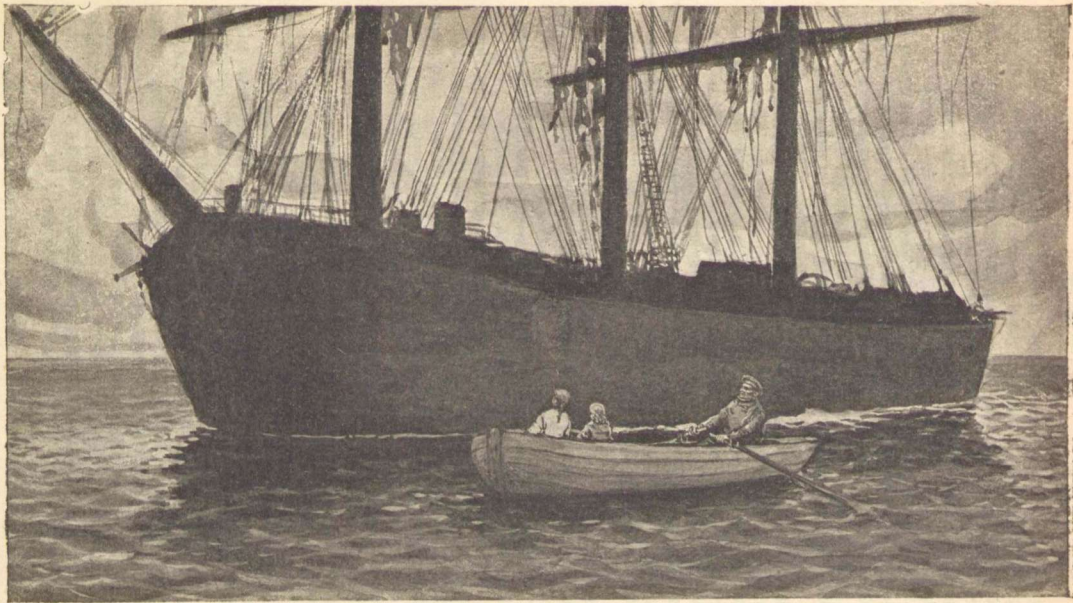
— Что это значит?—спросил Падди.

— Не знаю,—признался Дик не без смущения.

— Так я и знал,—воскликнул с негодованием гребец, придвигая лодку к штирборту судна.—Прикидываются, будто чему-то учат детей в школах, проглядят они все глаза над книжкой,—и вот вам, извольте смотреть! Буквы с мою рожу величиной, а они и в них-то не разберутся!

У брига были старомодные широкие руслени; притом он сидел так низко, что они не более как на фут возвышались над водой. Беттон прикрепил плюшку к русленим, затем взял Эмелину со свертком на руки и опустил ее через перила на борт. Потом наступил черед Дика, и дети стояли на палубе, дожидаясь, чтобы старик перетащил на борт воду, бисквиты и жестянки с консервами.

Палуба *Шенандоа* была как бы нарочно создана на радость мальчишескому сердцу. Передняя ее часть вплоть до главного люка была завалена



Несколько взмахов весел—и они очутились под кормой брига.

лесом. Там и сям валялся такелаж, а почти все шканцы были заняты домиком с капитанской каютой. Вокруг разливался очаровательный запах морского берега, гниющего леса, дегтя и таинственности. Сверху болтались веревки. Как раз перед фок-мачтой висел колокол. В одну минуту Дик подхватил валявшийся на палубе болт и принялся колотить им по колоколу.

Беттон крикнул ему, чтобы он перестал: звон резал его по нервам. Он звучал призывом, а призыв представлялся ему неуместным на покинутом корабле. Почему знать, не откликнется ли на него нечистая сила?

Дик бросил болт, побуждал к Беттону и вцепился в его свободную руку. Они подошли втроем к домику. Дверь была открыта, и они вошли.

В капитанской каюте имелось три окна с штирборта, в которые печально светило солнце. Посредине стоял стол. От стола был отодвинут стул, как если бы с него встали второпях. На столе стояли чайник, две чашки, две тарелки. На одной из тарелок лежала вилка с куском гниющего сала, который *кто-то*, очевидно, подносил ко рту, когда *что-то* случилось. Около чайника осталась открытая жестянка с ступенным молоком. Какой-нибудь старый моряк собирался забегнуть чай молоком в ту самую минуту, когда случилось это таинственное *нечто*. Никогда еще бездушные предметы не говорили так красноречиво, как эти.

Можно было с легкостью восстановить всю сцену. Должно-быть, шкипер уже отпил чай, а штурман только что засел за него, когда они услышали протеч или наткнулись на что-нибудь, или вообще то, что случилось,—случилось.

Явно было одно, что с момента оставления брига стояла тихая погода, иначе вещи не остались бы в целости на столе.

Беттон и Дик вошли в каюту, но Эмелина осталась в дверях. Старый бриг очаровывал ее почти так же, как и Дика, но она испытывала при этом неизвестное мальчику чувство. Ей казалось, что на корабле, на котором нет людей, может быть «что-то другое».

Она боялась войти в темную каюту, боялась оставаться одной и кончила тем, что села на палубу. Потом подошла рядом с собой сверточек, поспешно вытащила куклу из кармана, в который она была заперта вниз головой, оправила ее закинутую на голову ситцевую юбку, прислонила к косяку двери и наказала ей не «бояться».

В большой каюте оказалось мало интересного, но за нею находились две маленькие каютки, подобные кроличьим норам, в которых было чем пожить. Старое платье, старые сапоги, старый цилиндр того необыкновенного фасона, который можно увидеть только на улицах Пернамбуку: невероятной вышины и поуже кверху; телескоп без одного стекла, том сочинений Гойта, морской альманах, большой кусок полосатой фланели, коробка крючков для удочек. А в углу—о, чудесная находка!—сверток чего-то, что имело вид черной веревки.

— Табак, клинусь честью!—завопил Пади, бросаясь к нему. Это был тот сорт табаку, который водится в лавочках приморских городишек. Одной трубки было бы достаточно, чтобы вызвать тошноту у гипнопотама, но старые матросы жуют его, курят и наслаждаются им безгранично.

— Вытащим все добро на палубу и разберем, что стоит оставить, а что выбросить,—сказал Беттон, загребая огромный ворох хлама, в то время как Дик пустился вперед с высокой шляпой, на которую сразу заявил права собственности.

— Эм,—закричал он, выскакивая из-за дверей,—посмотри, что я добыл! — Он насунил нелепое сооружение себе на голову. Шляпа спустилась до самых плеч.

Эмелина взвизгнула.

— Смешно как пахнет,—продолжал Дик, сняв шляпу и обнюхивая ее.—Пахнет старой головной щеткой.

Но Эмелина уползла от него как можно дальше: она боялась всего черного, и исчезновение Дика под черной шляпой напугало ее до полусмерти.

Между тем Беттон натаскал целую кучу тряпья на палубу, уселся рядом с ней и запалил трубку. Он и не вспомнил до сих пор о съестных припасах и воде: так он был счастлив, что нашел драгоценный табак. Правда, что съестных припасов только всего и было, что полмешка картофеля; трюм был затоплен, а пресная вода в бочке совсем протухла.

Тем временем Эмелина пробралась обратно, так как Дик обещал не надевать на нее шляпу, и все трое уселись вокруг кучи хлама.

— Эта пара сапог,—начал старый матрос, поднимая их кверху, как на аукционе,—пошла бы за полдоллара в любом порте мира. Положи их рядом с собой, Дик, и разверни вон те штаны.

Штаны развернули, осмотрели, одобрили и сложили рядом с сапогами.

— Вот вам телескоп, кривой на один глаз,—продолжал Беттон, сдвигая и раздвигая его, как гармонику. Может, на что и пригодится. А вот книжка,—бросая мальчику альманах, объявил он:—посмотри, что в ней сказано.

— Не могу прочесть,—безнадежно сказал Дик,—тут цифры!

— За борт ее!—скомандовал Беттон.

Дик радостно исполнил приказание, и осмотр продолжался. Падди вывернул все карманы, но ничего в них не нашел. Отобрав все подходящее, выбросили остальное за борт и спесли отобранные вещи до поры до времени в капитанскую каютку.

Тут только Беттон вспомнил, что пища может оказаться столь же полезной, как и одежда, и отправился на поиски; но все мясо оказалось заблаговременно вынесенным, и трюм был залит водой. Впрочем, той провизии и воды, которые они перетаскивали из шлюпки, должно было хватить на десять дней,—а в десять дней мало ли что может случиться!

VIII. Тени при луне.

— Что-то долго нет папочки!—вдруг сказал Дик.

Они сидели на больших бревнах, которыми была завалена палуба по обеим сторонам камбуза. Солнце садилось в стороне Австралии, погружаясь в море расплавленного золота. В нависшем над горизонтом таинственном мареве казалось, будто вода трепещет и колыхнется, как бы от чрезмерного жара.

— Да, это правда,—сказал Беттон,—но лучше поздно, чем никогда. А теперь, не думай о нем, потому что он от этого скорей не явится. Смотри, как солнце садится в воду, и, чур! не говори ни словечка: тогда услышишь, как оно зашипит.

Дети смотрели и слушали. Падди делал вид, что тоже слушает. Все трое безмолвно следили за тем, как сверкающий щит прикоснулся к воде, пригнувшись к нему навстречу.

И точно, можно было услышать, как зашипела вода,—стоило только иметь немного воображения. Только что прикоснувшись к воде, солнце исчезло в ней так быстро, как человек, спускающийся с лестницы. Как только оно исчезло, над морем разлились призрачные золотистые сумерки, прелестные, но невероятно печальные. Затем море превратилось в лиловую тень, запад померк, как если бы там затворили дверь, и по небу потоком хлынули звезды.

— Беттон,—спросила Эмелина, кивая на запад,—что там такое?

— Запад,—сказал он, уставившись на закат,—Китай, Индия и все такое прочее.

— Куда пошло теперь солнце?—спросил, в свою очередь, Дик.

— Оно теперь гонится за луной, а она удирает, что есть сил, подоткнувши юбки; сейчас выскочит на небо. Оно всегда гоняется за ней, но ни разу еще не поймало.

— А что бы оно сделало, если бы поймало ее?—спросил Дик.

— Может, дало бы ей хорошего шлепка,—и по-делом!

— Отчего по-делом?—продолжал Дик, на которого нашла полоса допрашивания.

— Потому что она только и знает, что морочит людей. Чего только не делала она с Мак Кенна!

— Кто он такой?

— Мак Кенна? Да юродивый той деревни, где я жил в добрые старые дни.

— Что это значит—юродивый?

— Держи язык за зубами и не расспрашивай! Он вечно тянулся за луной, нужды нет, что было в нем шесть футов два вершка росту. Был он худ, как жердь, хоть узлом его связывай, и в полнолуние не было с ним никакого сладу. Бывало, сидит на траве и смотрит на нее; потом вдруг как схватится, и ну гоняться за ней по холмам; пока его не найдут где нибудь в горах спустя дня два, голодного и холодного, так что, наконец, пришлось его спутывать.

— Я раз видел спутанного осла,—вставил Дик.

— Значит, ты видел близнеца Мак Кенна. Ну-с, раз как-то мой старший брат Тим сидит перед огнем, покуривая трубку и подумывая о своих грехах, как вдруг, откуда ни возьмись, входит Мак.

— Тим,—говорит,—изловил я ее, наконец!

— Кого это ее?—спрашивает Тим.

— Луну,—говорит.

— Куда изловил?—говорит Тим.

— В ведро у пруда,—говорит тот,—вся целехонька, без единой царапины. Приди, посмотри—говорит.

«Тим и пошел за ним. Пришли они к пруду, и там стоит ведро с водой, а в воду смотрится луна.

«Выудил ее из пруда,—шепчет Мак.—Теперь погоди, говорит, я спешу воду потихоньку,—говорит,—и поймал ее на дне живьем, как форель.—Слил это он воду из ведра и заглядывает на дно,—думал она там плескается, как рыба.

«Удрала, чтоб ей пусто было!—говорит.

«Попробуй еще раз!—говорит мой брат; и Мак опять набрал воды в ведро, и как только вода улеглась, глядь!—снова луна тут как тут.

«А ну-ка теперь,—говорит мой брат.—Спусти опять воду, да потихоньку, не то опять поминай ее, как звали.

«Постой маленько,—говорит тот,—я что-то придумал.

«Мигом сбегал в хижину своей старухи-матери—она тут же и жила близехонько—и притащил решето.

«Ты держи решето,—говорит,—а я буду лить воду. Коль из ведра ускользнет, изловим ее в решето.—Вот льет он себе воду тихонько, точно сливки из кувшина. Вылил всю воду, вывернул ведро вверх дном.

«Да провадись она совсем!—кричит,—опять унесла ее не легкая.—Да с этим как швырнет ведро в пруд, и решето за ним следом. Как вдруг ковыляет к ним его старуха-мать с палкой.

«Где мое ведро?—спрашивает.

«В пруду,—говорит Мак.

«А мое решето?

«Отправилось за ним вдогонку!

«Я тебя научу ведрами швыряться,—крикнула она, да как хватит его палкой, а тот ну реветь и в припрыжку прочь от нее. А она загнала его в хижину, и продержала там на хлебе и воде целую неделю, чтобы вытряхнуть у него луну из головы. Да только попусту хлопотала. Как прошел месяц, он опять за свое... Э, да вот и она!

Из воды вымывала серебряная полная луна. Свет ее был почти так же ярок, как дневной, и тени Беттона и детей выступили на стене камбуза черными силуэтами.

— Смотрите на наши тени!—крикнул Дик, размахивая широкополой соломенной шляпой.

Эмелина выставила свою куклу, Беттон—трубку.

— Ну, а теперь, ребята,—сказал он, вкладывая трубку обратно в рот,—пора вам на боковую.

Дик тотчас начал скучить.

— Я не хочу спать, я не устал, Падди, ну, еще чуточку позволь!

— Ни минуты,—объявил тот решительным тоном строгой няни,—ни минуты после того, как потухнет у меня трубка!

— Беттон!—вдруг воскликнула Эмелина, вдыхая воздух. Она сидела за ветром от курильщика, и ее тонкое обоняние уловило нечто незаметное остальным.

— Что тебе, моя крошка?

— Пахнет цветами.

— Цветами?..—повторил старый матрос, выколачивая трубку о каблук сапога.—Откуда же возьмутся цветы посреди океана? Ты бредишь, что ли? Марин оба в постель!

— Набей опять трубку,—хныкал Дик.

— Вот отпиленую тебя, как следует, тогда будешь слушаться,—возразил его покровитель, стаскивая его с бревен.—Идем, Эмелина!

Он повел детей за руки к корме, при чем Дик не переставал подвывать.

Поравнявшись с колоколом, мальчик подметил, что на палубе еще валяется болт, и, подхватив его, ударил с размаху в колокол. Это было последнее удовольствие, которое можно было урвать перед сном,—он и урвал его.

Падди приготовил постели для себя и своих питомцев в капитанской каюте; он убрал посуду со стола, выбил окно, чтобы выветрить запах плесени, и разложил найденные в каютах тюфяки на полу.

Когда дети уснули, он вышел на палубу и, опершись на перила, стал смотреть на светящееся море.

В то время как он стоял, прислонившись к перилам, в голове его проносились мысли о «добром старом времени». Его собственный рассказ об юрдовом разбудил эти воспоминания, и за ширью соленых морей ему мерещился лунный свет на Коннемарских холмах и слышался крик чаек на бурном берегу, где за каждой волной тянется три тысячи миль моря.

Вдруг Беттон возвратился из Коннемара, чтобы очутиться на палубе *Шенанноа*, и им мгновенно овладел суеверный страх. Что, если из-за двери камбуза вдруг выглянет голова, или, еще того хуже, в нее войдет призрачная тень?..

Он поспешил обратно в капитанскую каюту, где вскоре заснул рядом с детьми, в то время как бриг всю ночь покачивался на мягкой зыби Тихого океана, а ветерок тихо веял, неся с собой запах цветов...

IX. Трагедия на лодках.

Когда, после полуночи, туман рассеялся, люди с первого баркаса увидели второй, на полмили к штирборт.

— Вы видите шлюпку?—спросил Лестрэндж у капитана, который встал на ноги, осматривая горизонт.

— Ни следа!—ответил Лефарж.—Будь проклят этот ирландец! Когда бы не он, я успел бы как следует снабдить лодки провизией; а теперь не знаю даже, что у нас есть. Что у вас там на носу, Дженкинс?

— Два мешка хлеба и боченок воды,—сказал тот.

— Какой там боченок!—перебил другой голос.—Ты хочешь сказать, полбоченка!

— И то правда,—согласился Дженкинс,—наберется не больше двух галлонов.

— Будь проклят этот ирландец!—вновь вскричал Лефарж.

— Еще хватит по полковника на душу,—заметил Дженкинс.

— Быть-может, второй баркас успел лучше запастись,—продолжал Лефарж,—пойдем к нему.

— Он сам идет к нам,—сказал загребной.

— Капитан,—снова спросил Лестрэндж,—вы уверены, что не видите шлюпки?

— Ни малейшего признака,—повторил Лефарж.

Несчастный опустил голову на грудь.

Однако ему не пришлось долго раздумывать над своими заботами, так как вокруг него начинала разыгрываться одна из ужаснейших трагедий в летописях морской жизни.

Когда баркасы достаточно облизались для оклика, на носу первого поднялся человек.

— Гей, там!—сколько у вас воды?

— Ни капли!

Ответ ясно прозвучал в мирном лунном воздухе. Услыхав его, люди в первом баркасе перестали грести, и видно было, как с поднятых весел стекали капли, сверкая бриллиантами при свете месяца.

— Гей, там, баркас!—крикнул человек на носу. Налегай на весла.

— Молчать, негодяй!—крикнул Лефарж.—Кто ты, чтобы командовать?

— Сам негодяй!—отозвался тот.—Ребята, заворачивай!

Гребцы штирборта дали задний ход, и лодка завернула.

Случайно в первый баркас попали все худшие матросы *Нортумберленда*, и Лефарж оказался совершенно бессильным перед ними.

— Ложись в дрейф!—донеслось с второго баркаса, с трудом подвигавшегося к первому.

— Налегай на весла!—крикнул матрос на носу, возвынявшийся над другими, как злой гений, временно взявший власть над событиями.—Подними весла! Лучше покончить сразу.

Второй баркас, в свою очередь, перестал грести и остановился на расстоянии одного кабельтова.

— Сколько у вас воды?—прозвучал голос боцмана.

— Нехватит всем по одному разу напиться.

Лефарж сделал движение встать, но загребной хватил его веслом, и он свалился на дно лодки.

— Дайте нам воды, ради Бога!—послышался голос боцмана.—В горле пересохло от гребли, и тут с нами женщина.

Человек на носу внезапно разразился потоком брани.

— Дайте нам воды,—упорствовал голос боцмана,—не то, клянусь дьяволом, мы пойдем на abordаж!

Не успел он кончить, как угроза уже была приведена в исполнение. Сражение длилось недолго: второй баркас был чересчур переполнен для борьбы. Люди штирборта на первом баркасе сражались веслами, в то время как сидевшие у левого борта удерживали лодку в равновесии.

Скоро все было кончено, и второй баркас отчалил. Половина людей на нем были ранены в голову, при чем двое из них лежали без сознания.

Было это на закате следующего дня. Первый баркас лежал в дрейфе. Последняя капля воды была вынита давным-давно.

Подобно грозному привидению, второй баркас преследовал его весь день, моля о воде, которой больше не было. Люди первого баркаса, мрачные и угрюмые, подавленные сознанием преступления, мучимые жаждой и голосами своих жертв, принимались усиленно грести, как только вторая лодка пыталась к ним приблизиться.

Время от времени, как бы движимые общим побуждением, они выкрикивали в один голос:

— Нет во-ды!

Но напрасно они опрокидывали боченок, чтобы доказать, что он пуст, — обезумевшие от жажды несчастные не верили им, убежденные, что товарищи утаивают от них воду.

В тот миг, когда солнце коснулось воды, Лестрендж стряхнул овладевшее им оцепенение, приподнялся и заглянул через шкафут. На расстоянии кабельтова, он увидел второй баркас, освещенный светом заходящего солнца, и населявшие его призраки, которые, при виде поднявшегося человека, высунули в немой молитве на-показ свои почерневшие языки.

О последовавшей ночи невозможно говорить. Мучения жажды были ничто в сравнении с пыткой от хнычущей молитвы, доносившейся к ним время от времени в течение всей ночи.

Когда, наконец, их завидел французский китоловный корабль *Араго*, люди на первом баркасе были еще живы, но трое из них потеряли рассудок. На втором баркасе не уцелело ни одного.

Х. О с т р о в.

— Дети!..—крикнул Падди. Он держался на красниц-салинге, освещенный восходящим солнцем, между тем как дети, закинув головы, смотрели на него снизу.—Дети! Впереди нас остров!

— Ура!—завопил Дик. Он не вполне понимал, что такое значит остров, но голос Падди выражал необычайное ликование.

— Земля и есть!—сказал тот, спускаясь на палубу.—Идите сюда на нос, я вам покажу...

Он взлез на бревно и поднял Эммелину на руки; даже с такой незначительной вышины ей удалось разобрать на горизонте какой-то предмет неопределенного цвета—скажем, зеленоватого. После того, как Дик взглянул в свою очередь, и объявил, что и смотреть-то не на что, Падди стал готовиться к отбытию.

Только теперь, при виде земли, он впервые смутно почувствовал ужас того положения, из которого им неожиданно открывался исход.

Он наскоро покормил детей бисквитами и мясными консервами, потом принялся собирать вещи и складывать их в шлюпку, грызя бисквит на ходу. В шлюпку отправились: сверток фланели, все старое платье, футляр с нитками и иглками, какие водятся иногда у моряков, полмешка картофеля, старая пила и много всякой мелочи, не говоря уже о воде и провизии, которые они раньше взяли с собой. Когда все было готово, он прошел с детьми на нос посмотреть, что делается с островом.

За каких-нибудь час-два времени остров значительно приблизился и отодвинулся вправо; это означало, что бриг относится довольно быстрым течением, и что остров останется миля на две, на три в стороне от него. Хорошо еще, что они имели в своем распоряжении шлюпку.

— Вокруг него со всех сторон море,—заметила Эммелина, сидя на плече у Падди и разглядывая остров, на котором уже ясно виднелась зелень деревьев, выделяясь оазисом на сверкающей небесной лазури моря.

— Мы туда идем, Падди?—спросил Дик.

— Туда, и на всех парах,—объявил Беттон.—К полудню причалим, а не то и раньше.

Ветер посвежел и дул прямо с острова, как будто последний тщетно пытался сдунуть их прочь...

О, что это был за свежий душистый ветерок! Сколько тропических растений слили свои ароматы в один букет!..

— Понюхайте,—сказала Эммелина, раздувая ноздри.— Это то же, что я чувствовала вчера вечером, только сильнее.

По последнему вычислению, сделанному на *Нортумберленде*, корабль находился на юго-восток от Маркизских островов. Таким образом, это был, очевидно, один из мелких пустынных островков, лежащих на юго-восток от последних,—самых пустынных и самых очаровательных островков в мире.

Теперь он вырастал у них на глазах, все более сдвигаясь вправо. Уже виднелись холмы и пятна темной и светлой листвы. Вокруг выделялась как бы кайма белого мрамора. Это была пена прибоя на рифах.

Прошел еще час, и стала явственно видна перистая листва кокосовых пальм. Тогда старый матрос решил, что пора пересечь в шлюпку.

Он поднял над перилами Эммелину, сжимавшую в объятиях свой багаж, и опустил ее в шлюпку; затем посадил туда же Дика.

Минуту спустя шлюпка уже отделилась от *Шенандоа*, предоставляя ему продолжать свое таинственное плавание по воле морских течений.

— Ты не к острову ведешь, Падди!—крикнул Дик, когда старик повернул шлюпку влево.

— А ты помалкивай,—возразил тот,—яйца кур не учат! Каким чортом я бы мог достигнуть земли, если бы полез прямо ветру в глаза?

— Разве у ветра есть глаза?

Беттон не отвечал. Он был озабочен. Что, если остров обитаем?—Он знал туземцев Самоа за добрых малых, но здесь он не имел представления о том, что его ожидает. Впрочем, сколько ни тревожся, толку от этого не будет. Приходилось выбирать между островом и пучиной морской. Он поставил лодку на правый галс, зажгел трубку и прислонился спиной, захватив румпель локтем. Зоркий глаз моряка усмотрел проливчик между рифами, и теперь он вел шлюпку в уровень с этим проходом, чтобы затем ввести ее внутрь на веслах.

Мало-по-малу, с ветерком стал доноситься какой-то слабый звук, рокошущий и сопливый. То был звук прибоя на рифах.

Эммелина сидела со свертком на коленях, молча созерцая расстилавшийся пред нею вид. Несмотря на яркое солнце и видневшуюся вдали зе-

лень, зрелище было достаточно унылое. Белый пустынный берег, с перегибающимися друг друга валами и кружащими вверху крикливыми чайками, а надо всем этим—гром прибоя.

Внезапно сделался виден проливчик, за которым мелькнула синяя гладь. Беттон вынул из гнезда мачту и взялся за весла.

По мере того, как они приближались, море становилось более бурным и полным жизни: гром прибоя делался явственнее, валы грознее и свирепее, и проливчик шире.

Видно было, как вода кружится около коралловых столбов, ибо течение вливалось в лагуну; оно подхватило шлюпку и понесло ее быстрее, чем могли бы сделать это весла. Над ними с криком вились чайки; шлюпку качало и било; Дик взвизгивал от возбуждения, а Эмелина крепко зажмурила глаза.

И вдруг, как если бы быстро и безшумно притворили дверь, шум прибоя внезапно затих. Шлюпка пошла ровно. Эмелина открыла глаза и очутилась в мире чудес.

XI. Лазоревое озеро.

По обеим сторонам расстилалась струистая голубая ширь, отливая сапфиром и аквамаарином. Вода была так прозрачна, что далеко внизу виднелись ветви коралла, стаи рыб и тени этих рыб на песчаном дне.

Впереди них вода омывала пески белого берега; между собой шептались кокосовые пальмы; когда же гребец остановился, чтобы осмотреться, с пальмовых макушек поднялась стая голубых птичек и пронеслась над ними беззвучно, как струя дыма.

— Смотрите!—крикнул Дик, свесивший нос над шкафутом,—смотрите на рыб!

— Беттон!—воскликнула Эмелина,—где это мы?

— Признаться сказать, не знаю; но думается мне, что бывают места и похуже этого,—отвечал старик, окинув взглядом мирную лагуну, от стены рифов до тихого берега.

По обеим сторонам широкого берега кокосовые пальмы выстроились, как два полка, и склонились макушками, глядясь в воду. Дальше темнела роща, в которой пальмы смешивались с хлебными деревьями, перевитые диким виноградом. На одной из коралловых свай стояла одинокая пальма, также кивая макушкой и как бы ища собственного отражения в воде. Но душой всей картины и самой невыразимой красотой ее было освещение.

В открытом море свет был ослепителен и жесток. Там ему не на чем было сосредоточиться, нечего было освещать, кроме безграничного пространства синей воды и уныния.

Здесь же свет превращал воздух в хрусталь, сквозь который зритель созерцал красоту берега, зелень пальм, белизну коралла, кружащих чаек, голубую лагуну,—все это ясно очерченное, горящее, красочное, смелое, но нежное и прекрасное. Здесь дышал дух вечного утра, вечного счастья, вечной юности.

В то время как Беттон подвигался к берегу, ни он, ни дети не заметили в воде, у подножия кивающей пальмы, чего-то, что на миг осквернило своим присутствием ясный день и исчезло; чего-то, похожего на трехугольник темной парусины, вынырнувшего из воды и снова миготом скрывшегося; чего-то, что мелькнуло и сгнуло, как дурная мысль...



— Что такое «чертенок», Падди?—твердил Дик.

Причалить было недолго. Беттон влез по колена в воду, и Дик помог ему вытащить шлюпку на отмель. Потом старик перенес Эммелину на берег.

Дик опалел от восторга и гонялся взд и вперед, как собака, когда она только что вылезет из воды. Беттон выгружал свой груз на сухой песок. Эммелина сидела с драгоценным свертком на коленях и чувствовала, что происходит нечто очень странное.

Хотя главной заботой Падди все время было не пугать «детешек», в чем ему немало помогла погода, однако, в глубине души она чувствовала, что дело нечисто. Поспешное отбытие с корабля, исчезновение дяди в тумане,—сердце ее чуяло, что здесь что-то не то. Однако она ни слова не сказала.

Впрочем, ей не пришлось долго задумываться. Дик уже бежал к ней с живым крабом, пугая ее его клешнями.

— Возьми его прочь!—закричала Эмелина, закрывая лицо руками.— Беттон! Беттон!

— Отстань от нее, чертенок!—заорал Беттон, складывавший последний груз на песок.—Отстань, не то задам тебе хорошую трепку!

— Что такое «чертенок», Падди?—твердил Дик, заныхавшись от беготни.—Падди, что такое «чертенок»?

— Это ты! И не задавай вопросов! Уморился я, надо дать отдых костям.

Он бросился в тень пальмы и принялся раскуривать трубку. Эмелина подползла к нему под крылышко, а Дик растянулся на песке, рядом с Эмелиной.

Беттон снял куртку и сделал себе из нее изголовье. Он чувствовал, что нашел Эльдорадо утомленных. С его знанием тихоокеанской растительности достаточно было одного взгляда, чтобы заключить, что пищи здесь вдоволь, да и воды также: поперек берега извивалось углубление, которое в сезон дождей превратится в стремительный поток. В настоящее время в ручье не было достаточно воды, чтобы добежать до лагуны, но там, в лесу, где-нибудь да начинался родник, и в свое время он его разыщет. Воды в боченке хватит еще на неделю, и стоит взлезть на дерево, чтобы набрать кокосовых орехов, сколько душе угодно.

Эмелина смотрела на Падди, пока он курил трубку и давал отдых костям, и вдруг ее осенила великая мысль. Она сдернула платок со свертка и выставила напоказ таинственную шкатулку.

— Э-э, яничек!—промолвил заинтересованный Падди, приподнимаясь на локоть.—Я так и знал, что ты его не позабудишь.

— Мисс Джемс,—заявила Эмелина,—взяла с меня слово, что я не открою его, пока не сойду на берег, чтобы не растерять вещей.

— Ну, теперь ты на берегу,—заметил Дик,—открывай его.

Она тщательно развязала бечевку, отказавшись от ножа Падди, и сбросила оберточную бумагу, под которой оказалась простая картонка. Девочка приподняла крышку, заглянула внутрь, потом опять закрыла.

— Открой, открой!—кричал Дик, вне себя от любопытства.

— Что там такое, деточка?—спросил старый матрос, не менее заинтересованный, чем Дик.

— Вещи,—объявила Эмелина.

Тут она внезапно сняла крышку и обнаружила крошечный чайный фарфоровый сервиз, упакованный в стружках. Были тут чайник с крышкой, сливочник, чашки и блюдечки и шесть микроскопических тарелочек,—и на каждом из этих предметов было нарисовано по цветочку «аниютинных глазок».

— Да ведь это чайный сервиз!—с интересом воскликнул Падди.—Силы небесные! да вы только посмотрите на эти тарелочки с цветочками!



— Э-э, ящичек!—промолвил заинтересованный Падди.

Она развернула клочок папиросной бумаги и достала оттуда шпичики для сахара и шесть ложечек. Потом разложила все это на песке.

— Ну, эти все остальное за пояс заткнули!—восхищался Падди.—А когда же ты меня пригласишь чай пить?

— Когда-нибудь, — объявила Эмелина, аккуратно укладывая вещи обратно.

Беттон выколотил трубку и засунул ее в карман.

— А ну-ка!—предложил он.—Пройдемся-ка мы по лесу взглянуть, где тут вода. Положи свою коробку с вещами, Эмелина: здесь некому ее украсть.

Эмелина положила свое сокровище на грудку вещей в тени пальм, взяла Падди за руку, и все трое вступили в рошу.

Представлялось, будто входишь в сосновый бор; высокие стволы казались посаженными на определенном расстоянии, и куда ни обернешься, во все стороны уходили правильные сумеречные аллеи. Вверху, на огромном расстоянии, виднелся бледно-зеленый свод, на котором вспыхивали искорки света, когда ветерок вздымал перистые ветви макушек.

— Берегись орехов!—Сверху с щелканьем скатился орех и запрыгал по земле. Падди поднял его и положил в карман (он был немногим больше яффского апельсина).—Это зеленый кокосовый орех,—пояснил он,—он будет нам вместо чаю.

— Это не кокосовый орех,—возразил Дик,—кокосовые орехи коричневые. У меня раз было пять центов, и я купил себе один, выскреб серединку и съел ее.

Они миновали пальмовую рощу и вступили в более густую чащу. Здесь сумерки были темнее, так как всевозможные породы деревьев сливали свою тень. Длинные плети дикого винограда перекидывались, как змеи Лаокоона, от одного дерева к другому, между тем как мрак украшался множеством прекрасных цветов, начиная с красной китайской розы и кончая похоткой на мотылек орхидеей.

Внезапно Беттон остановился.

Сквозь тишину, полную жужжанья насекомых и отдаленной слабой песни прибоа, отчетливо пробивался тинькающий, журчащий звук—звук воды. Он прислушался, откуда идет этот звук, потом двинулся к нему навстречу.

Минуто спустя они очутились на небольшой прогалине. С поднимающихся за нею холмов сбегал маленький водопад, падая с черной и отполированной, как черное дерево, скалы. Вокруг росли папоротники, а на ветвях нависшего над водопадом дерева, крупные цветы вьюнка, казалось, трубили, как трубы в очарованном полумраке.

Дети кричали от восторга, и Эмелина поспешила окунуть руки в ручей. Как раз над водопадом росло банановое дерево, увешанное плодами. Листья на нем были футов в шесть длины, и шириной с обеденный стол. Зрелые бананы сквозили золотом в листе.

В мгновение ока Беттон скинул сапоги и пополз, как кошка, вверх по гладкому стволу.

— Ура!—в восхищении вопил Дик.—Смотри, Эмелина!

Но Эмелина ничего не видела, кроме кивающих листьев.

— Расступитесь!—крикнул Падди, и сверху упал большой пук желтых бананов.

Дик визжал от возбуждения, но Эмелина молчала: она сделала новое открытие.

ХII. Смерть под кровом мхов.

— Беттон,—сказала она, когда тот спустился на землю,—смотрите—боченок!—Она указывала на поросший мхом предмет, затиснутый между двумя стволами, и который менее зоркий глаз мог бы принять за мишную глыбу камня.



— Брось сейчас!—воскликнул Беттон, вскакивая, как ужасенный.

— И точно, пустой боченок,—согласился Беттон, отирая пот со лба.— Какой-нибудь корабль брал воду и позабыл его здесь. Пригодится вместо стула за обедом.

Он сел на боченок и роздал бананы детям. Боченок казался таким заброшенным, что он считал его пустым на веру. Как бы то ни было, сидеть на нем было очень удобно, так как он врос в землю и держался неподвижно.

— Если один корабль заходил, может зайти и другой,—пробормотал он, улетая банан.

— А панин корабль придет?—спросил Дик.

— Наверно, придет! А теперь, ступайте играть с цветами и дайте мне выкурить трубку, а потом заберемся на гору и посмотрим вокруг.

Дети весело погрузились в чащу. Когда он кончил курить и кликнул их, Эмелина прибежала с большим букетом в руке. У Дика не было цветов; он нес в руках что-то зеленоватое, похожее на круглый камень.

— Смотри, Падди, какая смешная штука!—крикнул он. В ней дырки!

— Брось сейчас!—воскликнул Беттон, вскакивая, как, ужасенный с боченка.—Где ты это нашел? Давай сюда.

Он нехотя взял в руки то, что оказалось обросшим мхами черепом, с большой зазубриной на затылке, очевидно, сделанной топором или иным острым орудием. И Беттон размахнулся и зашвырнул его как можно дальше в чащу.

— Что это такое, Падди?—спросил Дик, удивленный и слегка испуганный тоном старика.

— Ничего хорошего!—отвечал тот.

— Там было еще два таких же,—проворчал Дик,—я тоже хотел их забрать.

— Нечего тебе с ними возиться. О-ха-хо-х! Темные тут творились дела во время оно.

С этими словами он повел их вверх по холму, продолжая бормотать себе что-то под нос. Чем выше они поднимались, тем реже становилась чаща, и тем меньше в ней попадалось кокосовых пальм. Кокосовые пальмы любят море, и все они клонились макушками в сторону лагуны, как бы тоскуя по ней.

Они прошли заросью тростника, футов в двадцать вышины, потом поднялись по зеленому открытому склону вплоть до большой скалы, занимавшей самое высокое место острова. Подняться на скалу оказалось не трудно. Верхняя часть ее была совершенно плоской и размером с обыкновенный обеденный стол. С нее открывался вид на весь остров и на море.

Если глянуть со скалы вниз, глаз прежде всего пробегал по трепещущим древесным макушкам до лагуны; затем за лагуной к рифам, затем за рифами к бесконечной шире Тихого океана. Рифы охватывали кольцом весь остров, то придвигаясь, то отдаляясь от него; песнь прибоя долетала тихая, как шопот; но—странное дело!—в то время как на берегу рокот прибоя был непрерывным, с вышки можно было разобрать отдельные удары валов, разбивавшихся на коралловых утесах.

Вы, конечно, видели, как ветер рябит зеленое хлебное поле; точно так же, стоя на верху склона, можно было видеть легкий бег ветра по освещенным солнцем макушкам. Вся эта картина широкого моря, голубой лагуны, вспененных рифов и кивающей листвы была так весела и радостна, что человеку чудилось, будто он застиг невзначай какое-либо таинственное, особенное торжественное празднество Природы.

Время от времени над деревьями вспыхивали как бы цветистые ракеты. То были стаи птиц всевозможных оттенков,—синих, красных, сизых, ясноглазых, но безгласных. Над далекими рифами изредка подвигались чайки, как небольшие клубы дыма.

Местами мелкая, местами глубокая лагуна являла все оттенки темной синевы и светлой лазури. Наиболее светлыми были самые широкие и мелководные места, в которых кое-где просвечивали даже разветвления коралла, почти достигавшие поверхности. В самом широком своем месте остров достигал трех миль в поперечнике. Нигде не было видно признака жилья, не виднелось ни единого паруса на всей беспредельной глади океана.

Странно находиться в таком месте. Странно чувствовать себя среди трав, цветов, деревьев и всех щедрот Природы, ощущать веяние ветерка, покуривать трубку и сознавать, что находишься в необитаемом, неизвестном месте,—месте, куда не доходят никакие вести, кроме тех, которые приносятся чайками или ветром...

В этой пустыне букашка была столь же тщательно расписана и цветок столь же заботливо взращен, как если бы тут же стояли все народы цивилизованного мира для критики и восхваления.

Пожалуй, что нигде во всей вселенной не могло более остро чувствоваться великолепное равнодушие Природы к делам человека.

Но в голову старого матроса не приходило таких мыслей. Глаза его приковались к крошечному латышнику на юго-востоке,—вероятно, другому такому же островку. За этим исключением, весь водный мир был пуст и безмятежен.

Эмелина не последовала за ними на вышку. Ее привлекли крупные красивые ягоды на кустах ариты, казалось, выставивших их нарочно, чтобы показать солнцу, какие яды умеет изготавливать Природа. Она сорвала две большие ветки и подошла с ними к подножию скалы.

— Брось эти ягоды!—воскликнул Беттон, заметив ее.—Не клади их в рот: это «безпросьшные» ягоды.

Он кубарем скатился со скалы, выбросил ядовитые ягоды и велел Эмелине открыть рот. В нем, однако, ничего не оказалось, кроме языка, изогнутого и розового, как лепесток розы. Тогда он в свой черед помог Дик у спуститься и повел их обратно к берегу.

XIII. Лазоревые картинки.

— Не хочу надевать рваные штаны! Не хочу!

Дик носился голышом по песку, а Беттон его преследовал с папой штанишек в руке. С точно таким же успехом мог бы краб гоняться за антилопой.

Вот уже две недели, что они жили на острове, и Дик открыл величайшую радость жизни,—быть голым. Быть голым и плескаться в мелкой воде лагуны, быть голым и сушиться на солнце. Освободиться от рабства одежды, отшвырнуть от себя цивилизацию в виде панталон, куртки, сапог и шляпы, и слиться воедино с ветром, солнцем и морем!

Первым приказанием Беттона поутру было: «Раздевайтесь, и марш в воду!»

Дик вначале упирался, а Эмелина (которая редко плакала) стояла в рубашонке, всхлиывая. Но Беттон был неумолим. Трудно было загнать их в воду, но потом оказалось еще труднее выгнать их из воды.

Эмелина сидела на песке, нагая, как утренняя звезда, просыхая на солнышке после утреннего купанья и следя за эволюциями Дика на берегу.

Лагуна имела для детей больше притягательной силы, чем земля. Леса, где можно сбивать бананы палкой с дерева; пески, по которым бегают настолько ручные ящерицы, что можно изловить их за хвост; высокий холм с которого можно было, по выражению Падди, заглянуть «за задворки вселенной»—все это было очень хорошо в своем роде, но ничто в сравнении с лагуной.

В то время, как Падди ловил рыбу, можно было наблюдать множество интересного под водой,—там, внизу, где расходились коралловые ветви. Крабы-отшельники, выселявшие трубоухов и гулявшие с их раковиной на спине; морские анемоны, ростом с большую розу, цветы которой закрывались с раздражением, чуть только прикоснуться к ним крючком удочки;

чудовищные моллюски, которые прохаживались на щупальцах, разгоняя крабов и труборогов. Эти были настоящими царями песчаного дна, но прикоснись к одному из них привязанным к бечевке камешком—и он мгновенно распластается на дне, прикидываясь мертвым. Немало человеческой природы таилось на дне лагуны: здесь была и своя комедия и своя трагедия. У малейшего прудка с каменистым дном имеются свои чудеса. Вы можете себе представить, какой мир чудес скрывался в этом огромном пруде в девять миль в окружности, и от одной трети до полумили ширины; где теснилась тропическая жизнь и стаи расписных рыб; где под лодкой огнем и тенью пролетал сверкающий альбикор; где отражение шлюпки так же ясно виднелось на дне, как если бы вода была прозрачным воздухом; где море, укрощенное рифами, лепетало, как дитя.

Ленивый Беттон никогда не делал больших прогулок по лагуне. Навошив рыбы, он доставлял ее на берег, разводил на песке костер с помощью огнива и хвороста и пек на нем рыбу, плоды хлебного дерева и корни таро, в то время как дети одновременно помогали и мешали ему. Палатку они укрепили на опушке рощи, расширив ее с помощью паруса шлюпки.

Среди всех этих занятий, чудес и удовольствий дети не замечали, как летит время. О Лестрандже они спрашивали все реже и реже; затем и вовсе перестали спрашивать. Дети скоро забывают...

XIV. Поэзия науки.

Чтобы не замечать времени, надо жить на открытом воздухе, в теплом климате, и носить как можно меньше одежды. Надо добавить—и готовить себе пищу. Мало-по-малу, Природа начнет делать для вас то же, что делает для дикаря. Вы узнаете, что можно быть счастливым без книг и газет, писем и счетов. Вы поймете, какую важную роль в Природе играет сон.

После месяца жития на острове можно было наблюдать такую картину. Одну минуту Дик был полон жизни, помогал Беттону рыть корни или еще что-нибудь, в следующую минуту он уже спал крепким сном, свернувшись калачиком, как собака. Также и Эмелина. Внезапный сон и такое же внезапное пробуждение в мире чистого воздуха и ослепительного света, с радостью красок вокруг. Подлинно Природа настужь распахнула свои двери этим детям.

Она как будто сказала: «Дай-ка, водворю я обратно эти бутоны цивилизации в свой питомник, и посмотрю, чем это кончится».

По примеру Эмелины, притаившей с *Нотумберленда* свою драгоценную коробку, Дик не расставался с подоткнутым мешочком, в котором что-то звякало, если встряхнуть его. Это были шарики. Маленькие зеленые шарики и побольше—пестрые; стеклянные шарики с великолепными цветными серединками, и, в довершение всего, один большой старый шарик,—настоящий дедушка, который был слишком велик, чтобы играть с ним, но которому зато можно было бы поклоняться, как кумиру.

Шарики служили Дик у немалым утешением во время плавания. Он каждый день высыпал их на свою койку и любовался ими вместе с Эмелиной.

Раз как-то Беттон, заметив, что дети стоят на коленках друг против друга, подошел посмотреть, что они делают, и вскоре заинтересовался их игрой. После этого сидеть и рядом можно было видеть старого матроса стоящим на коленях. Зажмурив один глаз, он приставлял ноготь мозолистого пальца к шарик, прицеливаясь, а Дик и Эмелина следили за тем, чтобы он не «жульничал», пронзительно покрикивая: «Бей его, Падди, бей его!» Он входил в дух каждой игры с детским удовольствием. Изредка Эмелина снисходила открыть драгоценный ящик и задавала званый чай, при чем Беттон, по очереди, бывал то гостем, то председателем собрания.

— По вкусу ли вам чай, сударыня?—бывало, спрашивает он; а Эмелина, делая вид, что потягивает из чашечки, неизменно отвечала: «Еще кусочек сахара, пожалуйста, мистер Беттон», на что следовал обычный комплимент: «Берите дюжину на доброе здоровье, и выкушайте еще чашечку».

После этого Эмелина перемывала чашки в воображаемой воде, складывала их обратно в коробку, и все, распрощавшись со светскими манерами, снова становилась самими собой.

— Видал ты когда-нибудь свое имя, Падди?—спросил в одно прекрасное утро Дик.

— Свое что?

— Свое имя...

— Не задавай ты мне вопросов,—отвечал тот.—С какого чорта могу я увидеть свое имя?

— Подожди, увидишь,—сказал Дик.

Он сбегал за хворостиной, и минуту спустя на белой поверхности песка торжественно выступили буквы.

— Ну, и молодец же ты мальчик,—с восхищением воскликнул Беттон.—Так вот оно, мое **BUTTEN** имя! А какие же в нем буквы?

Дик перечислил их.

— Я тебя тоже научу писать твое имя, Падди,—сказал он.—Хочешь, Падди? Хочешь писать свое имя?

— Нет,—возразил тот, который только и хотел, что в покое курить свою трубку,—на что мне оно?

Но от Дика не так-то легко было отделаться, и злополучному Беттону пришлось волей-неволей учиться грамоте. Через несколько дней он с грохом пополам научился изображать нечто в роде произведения Дика, при чем Дик и Эмелина наблюдали за ним с обеих сторон, замирая от страха, как бы он не ошибся.

— Так, что ли?—спрашивался грамотей, отирая пот со лба.—Да поскорей же! сил моих нет!

— Так, так, хорошо!.. Ой-ой, криво пошел,—нет, теперь ладно! Ура!

— Ура!—отзывался ученик, махая старой шляпой.—Ура!—откликнулись пальмовые рощи. А далекий хохот чаек также звучал похвалой и поощрением.

Нет большего удовольствия для детей, чем учить старших. Это поощряла и Эмелина. В один прекрасный день она робко взяла на себя роль

профессора географии, первоначально всунув ручонку в мозолистую руку старого друга.

— Знаете что, Беттон, а я ведь знаю географию.

— А это что за штука?—спросил Беттон.

На миг она опешила.

— Это... где разные места,—пояснила она, наконец.—Хотите учиться географии, Беттон?

— Не очень-то я охоч до учения,—поспешно заявил тот.—В голове шумит от книжной науки.

— Падди,—начал, в свою очередь, Дик,—посмотри-ка сюда.

— На песке появилась следующая фигура:



— Это слон,—добавил он неуверенным тоном.

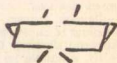
Беттон издал неопределенное мычание. Дик с печалью стер своего слона, а Эмелина повесила нос. Вдруг она оживилась: лицо ее осветилось свойственной ей ангельской улыбкой.

— Дик, — сказала она, — нарисуй Генриха Восьмого.

Дик также повеселел. Он сгладил песок и начертал на нем следующую фигуру:

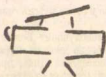
— Это еще не Генрих Восьмой,—пояснил он,—но сделается им в одну минуту. Меня папочка научил его рисовать: он ничего не стоит, пока не наденет шляпы.

— Надень ему шляпу! Надень ему шляпу! — умоляла Эмелина, переводя глаза с рисунка на лицо Беттона, в ожидании восторженной улыбки, когда старик увидит знаменитого короля во всем его величии.



Тут Дик единым взмахом палки увенчал Генриха шляпой.

Но, несмотря на поразительное сходство, Беттон остался невозмутимым. Дети были смутно разочарованы, хотя и видели, что портрет удался на славу. Какому художнику не приходилось испытывать то же самое перед неодобрительным молчалием критика?



Мало-по-малу, Беттон привык к урокам, и—как знать? — быть-может, столь сомнительные познания детей стоили истинной науки здесь, в поэтической рамке пальм, моря и неба.

Дни росли в недели, и недели в месяцы, а корабля все не было; но Беттон мало этим смущался, тогда как его питомцам слишком весело жилось, чтобы ломать себе голову над кораблями.

Как снег на голову, палетел на них сезон дождей. Не думайте, однако, чтобы здепние дождливые дни были похожи на европейские. Проливные дожди чередовались с ярким солнцем, радугами и опьяняющим ароматом всевозможных растений.

После дождей старый матрос объявил, что к следующему дождливому сезону построят из бамбука дом: «что-нибудь в роде этого»,—и начертил на песке следующее сооружение:

Набросав таким образом план здания, он прислонился к стволу пальмы и закурил трубку. Но не в добрый час он упомянул о доме при Дике.

Мальчику не было ни малейшей охоты жить просто на земле; совсем другое дело видеть, как строят дом и помогать его строить. В нем проснулась предприимчивость, составляющая одну из сторон многогранной американской натуры.



— Как же ты помешаешь им развехаться?—спрашивал он.

— Кому развехаться?

— Да жердям же, если ничем их не скрепишь?

— Надо вбить накрест гвоздь, а поверх связать веревкой.

— А есть у тебя гвозди?

— Нет,—сказал Беттон.—И не задавай мне вопросов: я хочу курить трубку.

Но не так-то легко было отделаться от Дика. День-деньской только и было слышно, что: «Падди, когда же ты начнешь строить дом?» или: «Падди, я придумал, как обойтись без гвоздей».

Кончилось тем, что Беттон с горя приступил к постройке.

Он начал с того, что нарезал кучу жердей в бамбуковой роще,—потом забастовал на три дня. Но неутомимый Дик приставал к нему, как слепень. Во что бы то ни стало, он хотел строить дом.

А Беттон не хотел. Он хотел отдыхать. Еще куда ни шло ловить рыбу или лазать по деревьям, но стройка дома—скучная работа.

Он заявил, что у него нет гвоздей. В ответ Дик показал ему, как скрепить жерди вместе с помощью зарубок.

— Да и сметливый же ты парнишка!—с восхищением воскликнул тот, когда мальчик объяснил ему свою систему.

— Идем же, когда так, давай их скреплять.

Беттон поставил ему на вид, что не имеет веревки. Тогда Дик указал ему на коричневую одежду, которой Природа одевает стволы пальм, и которая, будучи нарезанной полосками, может сойти за веревки. Пришлось несчастному уступить.

После двухнедельных трудов на опушке рощи появилось нечто вроде вигвама.

Во время отлива на рифах оставались глубокие лужи, в которых задерживалась рыба. Падди объявил, что будь у него багор, он мог бы багрить рыбу, как это делали при нем туземцы на Таити.

Дик осведомился о виде такового багра и на другой день поднес ему длинную бамбуковую трость, заостренную в конце наподобие гусиного пера.

— Что толку в таком багре?—объявил Беттон.—Воткнешь его в рыбу, а она тут же и улизнет: ведь ловятся-то они на зазубрину!

Назавтра неутомимый малыш уже переделал багор: он обстругал конец с одной стороны и вырезал на нем порядочную зазубрину, на которую в тот же вечер удалось поймать одну из рыб, задержавшихся в прудках.

— Здесь нет картофеля,—однажды заметил Дик, после второго дождливого сезона.

— Мы его давным-давно поели без остатка,—возразил Падди.

— А как растет картофель?

— Как? да очень просто, из земли,—как же ему еще расти?

Он объяснил мальчику, как сажают картофель, разрезав его на части таким образом, чтобы в каждом куске имелось по глазку.

— А потом,—добавил Беттон,—попросту тычешь эти куски в землю; глазки растут, полезут из них зеленые ростки, а когда раскопаешь куст месяцев шесть спустя, найдешь там целую уйму картошки,—иные картофелины с голову ростом, другие совсем мелкота. Как бы сказать, дети в семье—одни большие, другие маленькие. Стоит только взять вила и вывернуть их из земли единым взмахом. Сколько раз копал так картошку в доброе старое время!

— А отчего мы так не посадили картофеля?

— А где бы мы взяли лопату?

— Лопату смастерить не хитрое дело,—возразил Дик.—Я как-то раз сделал дома лопатку из старой доски, папочка мне помогал.

— Ну, марш теперь, и делай себе лопату,—подхватил Беттон.—Будете с Эммелиной копать в песке.

Эммелина сидела неподалеку, ситая яркие цветы со стеблем лианы. Жизнь на воздухе значительно изменила ее. Она загорела, как цыганка, и покрылась веснушками, и хотя мало выросла, но поподнела вдвое против прежнего. Глаза ее утратили прежний мечтательный взгляд, которым она как бы созерцала будущее и бесконечность.

Дик также сильно возмужал и казался двенадцатилетним. Нельзя сказать, чтобы это был красивый мальчик, но здоровый и веселый, с заразительным смехом и смелым, почти дерзким выражением лица.

В последнее время старика начинал тревожить вопрос об одежде детей. Правда, что климат сам по себе стоил полного комплекта платья. Чувствовалось даже гораздо привольнее без всего. Вечное лето, временами проливной дождь, кое-когда гроза,—вот климат острова. Все же, не годилось «детishкам» ходить совсем нагишом.

Он оторвал кусок от полосатой фланели и сделал Эммелине юбку. Потешно было смотреть, как он сидит на песке, поставив перед собой Эммелину, и примеряет ей юбку, с набитым булавками ртом и футляром с ножницами, иглками и нитками под рукой.

— Сверни-ка легонько валево,—приговаривал он,—тише же! ах, да куда же девались теперь ножницы? Дик, поддержи-ка пока нитку. Ну, и хлопот же мне с вами! Ну, что, удобнее теперь? Подними ногу, дай посмотреть, доходит ли до колен.—А теперь ступай на все четыре стороны, пока я буду шить.

Получилось нечто среднее между юбкой и парусом, что было очень удобно, так как Падди сделал два ряда петель, на которые можно было подбирать юбку, когда захочется шлепать по воде.

XV. Боченок дьявола.

Около недели спустя Дик опрометью примчался с вышки с криком: — Падди, Падди, корабль!

Немного потребовалось Падди времени, чтобы очутиться на верхушке холма. И точно, это был корабль,—широкоскулый и тупоносый, издали провозглашавший о своем ремесле. Падди Беттон скорее бы сунулся на корабль самого Люцифера, чем на тихоокеанского китолова. Он слишком хорошо знал их, чтобы рискнуть иметь с ними дело.

Живо он запрятал детей под большую индейскую смоковницу, запретив дышать и двигаться до его возвращения, так как судно это—«корабль самого дьявола», и если матросы поймают их, они живьем сдерут с них шкуру.

После этого он, что было духу, поспешил на взморье, выбрал все добро из вигвама и сложил его в шлюпку. Он уничтожил бы и самый дом, когда бы только мог, но было некогда. Потом отвел шлюпку ярдов на сто вдоль по левой стороне лагуны и поставил ее к берегу, под свисающими сучьями большого дерева. Потом возвратился пешком через кокосовую рощу и, притаившись за деревом, заглянул, что там происходит.

Ветер дул прямо в проливчик между рифами, и старый китолов вошел в лагуну со спокойной уверенностью завсегдатая, обрыскавшего все закоулки Тихого океана.

Якорь упал с громким всплеском, но Беттон не стал дожидаться, пока спустят лодку, и поспешил обратно к своим питомцам, с которыми и провел всю ночь в лесу.

Попутру китолов убрался во-свояси, оставив в память своего посещения перерытый песок, пустую бутылку, половину старой газеты и разоренный вигвам.

Старый матрос от души проклинал судно, появление которого внесло новый труд в его ленивую жизнь. Каждый день в полдень приходилось подниматься на вышку и выглядывать китоловов. Китоловы смущали его мирный сон, хотя сомневаюсь, чтобы он мог теперь соблазниться даже парходом королевской службы. Ему и без них было хорошо. После стольких лет тяжелой матросской лямки, жизнь на острове казалась ему раем. Запаса табаку хватит на неопределенное время, отвести душу можно с детьми, еды вдоволь... Нехватало только трактира.

Впрочем, как вы скоро увидите, дух хмельного веселья внезапно заметил эту оплошность Природы и поторопился ее исправить.

Наиболее прискорбным последствием пребывания китолова было не разорение «дома», а исчезновение Эмелининой коробочки. Все поиски оказались тщетными. Быть может, Беттон впопыхах позабыл о ней, и кто-нибудь из матросов подобрал ее,—так или иначе, она исчезла, и Эмелина грустила о ней целую неделю.

Она питала большое пристрастие к ярко окрашенным предметам, в особенности к цветам, и то и дело сплетала венки себе или другим на голову. В этом сказывался женский инстинкт, так как Дик никогда не плел цветочных гирлянд.

Раз как-то утром, она сидела рядом со старым матросом, панизуя ракушки, когда из роиц прибежал Дик, очевидно, что-то разыскивая. Вскоре он нашел то, что искал,—большую раковину, и побегал с нею обратно в лес.

Кстати сказать, одеждой Дик у служил кусок оболочки кокосового дерева, обернутый вокруг бедер в виде шотландской юбочки. Почему он носил этот наряд, трудно сказать, так как сплошь и рядом бегал совершенно безо всего.

— Я что-то нашел, Падди!—крикнул он, исчезая в чаще.

— Что ты нашел?—проницала Эмелина с любопытством.

— Что-то смешное,—донеслось из-за деревьев...

Вскоре он возвратился, на этот раз уже не бегом, но осторожно неся в обеих руках раковину, как если бы в ней было что-то драгоценное.

— Падди, я перевернул старый боченок, и вдруг в нем затычка. И я вынул ее, и в боченке полно чем-то,—смешно так пахнет! Я принес тебе показать.

Раковина была полна желтой жидкости. Падди понюхал, отведал, и испустил громкое ура.

— Ром, провались я на этом месте!

— Что это такое, Падди?—спросила Эмелина.

— Где ты, говоришь, достал его? В старом боченке?.. Что ты там болтал?—спрашивал Беттон в каком-то ошеломлении.

— Да. Я вытащил затычку...

— Засунул ты ее обратно?

— Да, да.

— О, слава Всевышнему! А я-то, знай себе, сижу без конца на старом пустом боченке, язык до пят болтается от жажды, а он-то все время полон рому!

Эмелина хохотала.

Беттон вскарабкался на ноги, и все вместе отправились к роднику. Боченок лежал дырой вверх, как его повернул неугомонный Дик. Он так оброс зеленью, так был похож на старый пенёк, что хотя китоловы тут же брали воду из ручья, они так и не заметили его.

Беттон постучал по нем раковиной: он был почти полон. Кто оставил его здесь и почему?—сказать было некому. Про то знали, быть может, заплесневелые черепа, когда бы только они могли говорить.

— Скатим его к берегу,—сказал Падди после того, как вторично приложился к нему.

Он дал Дик у попробовать. Мальчик выплюнул, скорчил гримасу, затем они принялись вдвоем катить боченок вниз по склону, в то время как Эмелина бежала впереди, увенчанная цветами.

XVI. Охота на крыс.

В полдень сели обедать. Падди умел печь рыбу, как это делают островитяне, завернув ее в листья и положив в яму, нагретую раскаленными угольями. Ели рыбу, печеные корни таро и зеленые кокосовые орехи; а после обеда Беттон наполнил большую раковину ромом и запалил трубку.

Ром был хорошего качества и стал еще лучше от времени. В сравнении с зельем, которое он пивал в трактирах, это был суший нектар.

Он так сиял, что заразил детей своей веселостью. Обыкновенно он становился сонливым после обеда, сегодня же рассказывал им басни о море и пел матросские песни. Дети подтягивали, с деревьев заглядывали на них ясноглазые птицы, а ветер относил отголоски припева через лагуну, туда, где с криком кружили чайки и валы разбивались на камнях.

Вечером Беттона опять потянуло к веселящей влаге. Не желая, чтобы дети видели его в таком виде, он откатил боченок по ту сторону кокосовой рощи, к воде, а когда они уснули, перекочевал туда с несколькими кокосовыми орехами и раковиной. Всю ночь Эмелина, просыпаясь, слышала отрывки песен, доносившихся сквозь заднюю луночную рощу на крыльях ветерка.

На следующее утро певец проснулся около боченка. Хотя он и не испытывал ни головной боли, ни иного недомогания, однако заставил Дика готовить обед вместо себя; сам же лежал в тени, подложив куртку под голову, покуривал трубку и болтал о старых временах, не то сам с собой, не то с своими компаньонами.

Вечером снова был одинокий концерт, и так продолжалось неделю. Потом он начал терять сон и аппетит; наконец как-то раз, утром, Дик застал его сидящим на песке с очень странным видом.

— В чем дело, Падди?—и мальчик подбежал к нему вместе с Эмелиной.

Беттон уставился на песок и поднял руку, как бы готовясь поймать муху. Вдруг он цапнул песок, затем открыл руку посмотреть, что такое поймал.

— Что там у тебя, Падди?

— Лепракон,—ответил Беттон.—Весь одет в зеленое — ох-ох-ох! ведь, я это только так, шутки ради.

В болезни, которой он страдал, имеется та особенность, что хотя больной явственно видит крыс или змей, или еще там что-нибудь и на миг верит в их реальность, но почти немедленно сознает, что был под влиянием заблуждения.

Дети засмеялись, и Беттон вторил им каким-то гаушим смехом.

— Это я в игру такую играю, никакого Лепракона вовсе не было. А просто, как выпью рому, мне и приходят в голову такие игры. Ох, пропала моя головушка, из песка поползли красные крысы.

Он бросился на четвереньки и заспешил к роще, растерянно оглядываясь через плечо. Он бросился бы бегом, но не смел вскочить на ноги.

Дети смеялись и плясали вокруг него.

— Смотри, крысы, Падди, крысы!—вскрикивал Дик.

— Они впереди меня!—воскликнул несчастный, ловя за хвост воображаемого грызуна.—Будь они прокляты!.. вот и нет! исчезли. Да что это я, правда, дурака ломаю!

— Еще, Падди,—просил Дик,—не бросай игру! Смотри—вот там еще крысы гонятся за тобой!

— Отстань ты, слышь-ка! — отрезал Падди, усаживаясь на песке и отирая лоб.—Они ушли теперь.

Дети были разочарованы, но им недолго пришлось дожидаться новой игры. Из лагуны выкарабкалось на берег что-то в роде ободранной лошади. На этот раз Беттон не стал спасаться ползком. Он вскочил на ноги и пустился бежать.

— За мной лошадь гонится, Дик, ударь ее, Дик, Дик, отгони ее!

— Ура! ура!—кричал Дик, гонимый за злополучным Падди, который описывал большой круг, завернув широкое красное лицо на плечо.—Вперед, Падди, живее!

— Отвяжись ты от меня, скотина!—воил Падди.—Пресвятая Матерь Божия! Попробуй только, подойди ко мне, я так тебя хвачу ногой!.. Эммелина! вступи между нами!

Он споткнулся и растянулся на песке, а неутомимый Дик подстегивал его прутиком, чтобы заставить продолжать скачку.

— Теперь полегче стало, только уж очень я утомился,—сказал Беттон, сидя на песке.—Только если еще будут за мной гоняться, прыгну я в море,—и все тут. Дик, дай мне руку.

Взяв Дика под руку, он прошел в тень и бросился на землю, приказав детям дать ему поспать. Они поняли, что игра кончена, и оставили его в покое.

Проспал он шесть часов кряду. Это был первый настоящий сон за целую неделю. Когда он проснулся, то чувствовал себя здоровым, но потрясенным, с дрожащими руками и ногами.

XVII. Звездный блеск на пене.

Беттон больше не видал крыс, к великому разочарованию Дика. Запой прошел. На заре второго дня он проснулся, как встрепанный, и спустился на берег лагуны. Просвет в рифах приходился на восток, и вместе с приливом в него вливались первые лучи солнца.

— Скотина я—и больше ничего,—твердил раскаянный грешник,—скотина и животное.

Некоторое время он простоял там, проклиная ром и тех, кто торгует им. Потом внезапно решил избавиться от соблазна. Но как? Выдернуть затычку и вылить вон жидкость? Но как бы он ни клял его, все же добрый ром—священная вещь для моряка, и уничтожить его было бы равносильно детоубийству. Он положил боченок в шлюпку и переправил его на риф, где оставил под прикрытием глыбы коралла.

Жизнь Падди приучила его к периодическому запою. Он привык не пить месяцев по пяти, по шести кряду—все зависело от продолжительности

плавания. Так и теперь; прошло шесть месяцев, прежде чем ему даже захотелось взглянуть на темное пятнышко на рифе. И хорошо, так как за это время заходило запастись водой второе китоловное судно, от которого им и на этот раз удалось скрыться.

— Провались оно! — заметил Беттон. — Здешнее море только и умеет раз водить, что китоловов. Вот, как бы клопы в постели: убьешь одного, глядь, другой уж тут как тут. Впрочем, теперь мы на время от них избавились.

Он спустился к лагуне, посмотрел на темное пятнышко и посвистал, потом вернулся готовить обед. Темное пятнышко начинало его тревожить, — вернее, дух, скрывавшийся в боченке.

Дни, до сих пор короткие и отрадные, казались теперь длинными и скучными. С каждым днем дух боченка нашептывал ему на ухо все назойливее и назойливее; наконец, он начал кричать вслух. Беттон мысленно затыкал уши и как можно больше возился с детьми. Он смастерил новую юбку для Эмелины, обстриг Дику волосы ножницами, что проделывал обыкновенно раз в два месяца.

Как-то раз вечером, чтобы отогнать докучную мысль, он принялся рассказывать детям сказку о Джэке Догерти и морском жителе.

Морской житель уводит Джэка обедать на дно морское и показывает ему банки, в которых сохраняет души старых моряков. Потом они обедают, и морской житель достает большую бутылку рома.

Не в добрый час вспомнилась ему эта сказка! Когда дети уснули, веселая картина пирующих на дне морском неотступно стояла перед ним. Его неудержимо потянуло к рифу.

Он прихватил с собой несколько кокосовых орехов и раковину и спустил шлюпку на воду. Лагуна и небо были полны звезд. Причалив к рифу, он прикрепил шлюпку к коралловому уступу и, наполнив раковину ромом пополам с соком кокосового ореха, уселся на высокой закраине, откуда открывался вид на риф и море.

Хорошо сидеть здесь в лунную ночь и смотреть, как надвигаются большие валы, радужные и туманные от брызг и пены. Но еще неописуемое и непонятнее была красота их песни и свежих гребней под разлитым светом звезд.

Было время отлива, и Беттон видел местами блестящие зеркала там, где задерживалась вода во впадинах камня. Насладившись этим созерцанием, он вернулся к обращенной к лагуне стороне рифа и уселся рядом с боченком. Немного погодя, если бы вы стояли на противоположном берегу, вы слышали бы отрывки старых матросских песен, перелетавшие через трепещущую гладь лагуны.

Наконец, шлюпка отчалила от рифа, весла рассекли звездные воды, и по лагуне расплылись большие дрозжащие круги света. Падди причалил к острову, привязал шлюпку к дереву в обычном месте, аккуратно сложил в нее весла; потом, громко сопя, скинул сапоги, чтобы не разбудить «детшек», — довольно-таки бесполезная предосторожность, так как они спали за двести ярдов от него, и ступать приходилось по мягкому песку.

Смесь сока кокосового ореха с ромом — вкусная вещь, но даже мозг старого матроса ничего не может извлечь из нее, кроме тумана и путаницы:

я хочу сказать, в смысле мышления, так как в смысле действия она может толкнуть его на невероятные подвиги. Благодаря ей, Падди Беттон переплыл лагуну.

В то время, как он направлялся вверх по берегу к вигваму, вдруг ему вспомнилось, что он оставил шлюпку, привязанной к рифу. На самом-то деле она была надежнейшим образом привязана по эту сторону к дереву; но память Беттона говорила ему, что она привязана к рифу. Как он переправился через лагуну без лодки, да притом еще сухим, мало интересовало его: ему было не до пустяков! Надо заполучить шлюпку обратно, и для этого имелось одно только средство. Итак, он возвратился к берегу, разделся и бросился в воду. Лагуна была широка, но в теперешнем своем настроении он переплыл бы Геллеспонт. Как только исчезла его фигура, ночи вернулась вся прежняя ее величавость и мечтательность.

Лагуна была до того залита звездным блеском, что голова пловца далеко виднелась посреди кругов света; когда же голова приблизилась к рифу, можно было различить еще и темный трехугольник, подвигавшийся, пересекая воду, мимо пальмы на коралловом столбе. То был ночной дозорщик лагуны, проведавший таинственным путем, что в его водах завелся пьяный матрос.

Казалось, что вот-вот раздастся страшный крик, но ничего подобного не произошло. Пловец в изнеможении вскарабкался на риф, очевидно, совершенно забыв, для чего возвратился. подполз к боченку и свалился рядом с ним, как если бы поранил его сон, а не смерть.

XVIII. Уснувший на рифе.

— Куда это девался Падди? — воскликнул утром Дик, волоча валежник из рощи. — Он оставил куртку на песке с огнивом в кармане, так что можно будет развести огонь. Чего там еще ждать? есть хочется.

Он стал разламывать сучья босыми ногами. Эмелина сидела на песке и любовалась им.

У нее было два кумира: Падди Беттон и Дик. Падди был загадочным божеством, окутанным клубами табачного дыма и тайны, божеством кораблей и скрипучих мачт, — тем божеством, что перенесло ее из маленькой лодки в это волшебное царство ярких птиц и пестрых рыб, где никогда не бывает скучно, и небеса вечно ясны.

Второй кумир, Дик, был менее таинствен, но не менее достоин поклонения, как товарищ и покровитель. За два года и пять месяцев жизни на острове он сильно вырос и возмужал, и мог грести и разводить костер не хуже самого Падди. Последний все более предоставлял мальчику справлять всю работу, озабоченный, главным образом, тем, чтобы давать отдых костям и мечтать о роде.

— Пусть себе тешится, думает, что дело делает, — приговаривал он, в то время как Дик выкапывал печурку в земле или мастерил что-либо иное.

— А ну-ка, Эм, подай сюда огниво, — сказал Дик.

Он поднес кусок трута к искре и принялся раздувать огонь.

Вскоре огонь ярко разгорелся, и он навалил на него кучу хвороста, так как собирался печь плоды хлебного дерева.

Плоды эти бывают различной величины, смотря по возрасту, и различного цвета, смотря по времени года. Те, которые выбрал теперь Дик, были ростом с небольшие дыни, так что двух штук вдоволь хватало на троих. Снаружи они были зеленые и шишковатые, более напоминая незрелые лимоны, чем хлеб.

Он положил их на уголья, как это делают с картофелем; вскоре они начали шипеть и сердито выплевывать маленькие струйки пара, потом расколodись, обнаружив белую сердцевину. Дик вырезал ее вон, так как она не годится в пищу.

Тем временем Эмелина готовила по его указаниям рыбу. В лагуне водилась рыба, которую только и можно назвать, что золотой селедкой, и которая так же вкусна, как и красива. Эмелина осторожно жарила несколько штук на бамбуковой трости, и хотя сок рыбы мешал хворосту гореть, однако случалось иногда, что целая рыба срывалась и попадала в огонь при насмешливых криках Дика.

— Когда же так жарко!—защищалась она.

— Потому что ты становишься с подветренной стороны от огня! Сколько раз тебе Падди говорил становиться с наветренной!

— Я не знаю, которая из них какая,—призналась Эмелина, в которой ни на грош не было практичности, и которая за двадцать восемь месяцев жизни на острове не научилась ни удить рыбу, ни грести, ни даже плавать.

— Ты хочешь сказать, что не знаешь откуда дует ветер?—спросил Дик.

— Нет, это-то я знаю!

— Ну, это и есть подветренная сторона. Почему ты раньше не спросила?

— Спрашивала,—возразила Эмелина,—и Беттон наговорил мне ни-весть что такое. Сказал, что если бы он плюнул в наветренную сторону, и человек стоял бы от него под ветром, то этот человек был бы дураком; и если корабль пойдет чересчур под ветром, то угодит на скалы, но я ничего не поняла. Дикки, скажи, куда он мог деваться?

— Падди!—громко позвал Дик. Ему отвечало одно только эхо.—Ну, давай завтракать,—добавил он,—нечего его ждать: пошел снимать ночные удочки и где-нибудь заснул над ними.

Дело в том, что в то время как Эмелина благоговела перед Беттоном, Дик отлично сознавал его недостатки. Ведь, когда бы не он, у них был бы теперь картофель. Несмотря на свою молодость, Дик понимал бессмысленную беспечность старика, не подумавшего о будущем. Также и дом. Необходимо было починить его, и каждый день Беттон говорил, что примется за него завтра, а на завтра опять было «завтра». Жизнь, которую они вели, возбуждала предприимчивость мальчика, но халатность старика тормозила его деятельность. Дик принадлежал к народу швейных и пишущих машин. Беттон был сыном расы, знаменитой своими балладами, нежным сердцем и приверженностью к выпивке. В этом и была главная разница.

— Пади!— снова начал звать мальчик, когда наелся вдоволь.— Гей! Пади! где ты?

Пролетела яркая птица, ящерица пробежала по сверкающему песку, говорил риф и ветер в макушках, но Беттон не давал ответа.

— Подожди!— сказал Дик.— Он побежал к дереву, к которому была привязана лодка.

— Шлюпка на месте,— заявил он, возвратившись.— Куда бы это он запропал?

— Не знаю,— сказала Эмелина, сердце которой сжалось чувством одиночества.

— Поднимемся на холм,— сказал Дик,— быть-может, найдем его там.

По пути Дик то и дело принимался звать, но ему отвечало одно только странное, заглушенное древесной чащей эхо, да журчанье ручейка. Они достигли большого утеса наверху холма. Дул ветерок, солнце сияло, и листва острова развевалась, как языки зеленого пламени. Лоно океана колыхалось глубокой зыбью. Где-то, за тысячу миль, бушевала буря и находила здесь отклик в усиленном громе прибоя.

Нигде на свете нельзя было бы увидеть подобную картину, такое сочетание пышности и лета, такое видение свежести, и силы, и радости утра. Быть-может, главная прелесть острова именно заключалась в его малых размерах: точно пучок зелени и цветов посреди дующего ветра и сверкающей синевы.

Внезапно Дик, стоявший рядом с Эмелиной на скале, указал пальцем на место рифа около проливчика.

— Вон он!— воскликнул Дик.

XIX. Цветочная гирлянда.

Можно было только-только различить человеческую фигуру, лежащую на рифе рядом с боченком и уютно защищенную от солнца стоячей глыбой коралла.

— Он спит,— сказал Дик.

Он мог бы и раньше увидеть его с берега, да только не подумал о рифе.

— Дик!— сказала Эмелина,— как это он добрался туда, если ты говоришь, что шлюпка на месте, у дерева?

— Не понимаю,— сказал Дик,— но как бы то ни было, он там. Давай переправимся туда и разбудим его. Я гаркну ему в ухо так, что он подскочит до неба.

Они спустились со скалы и повернули обратно. На ходу Эмелина начала срывать цветы и сплетать их в гирлянду: красные китайские розы, лиловые колокольчики, бледные маки с мохнатыми стеблями и горьковатым запахом.

— Для чего ты это делаешь?— спросил Дик, смотревший на ее гирлянды с жалостью и смутным отвращением.

— Надену ее Беттону на голову,— сказала Эмелина,— чтобы он подскочил вместе с ней, когда ты крикнешь ему в ухо.

Дик ухмыльнулся при мысли о шутке, готовый даже признать на миг пользу таких пустяков, как цветы.

Шлюпка была опшвартована в тени свисающего над водой дерева, к одной из нижних ветвей которого был прикреплен фалин. Дерево надежно защищало ее от разбойничьих покушений и солнца; кроме того, Падди время от времени вымачивал ее в мелководных местах. Она была совсем новой и могла при этих предосторожностях прослужить еще много лет.

— Влезай,—сказал Дик, притянув шлюпку к берегу.

Эмелина осторожно вошла и села на корме. Дик вскочил, в свою очередь, и взялся за весла. Он греб осторожно, чтобы не разбудить спящего. Причалив, он прикрепил фалин к острому коралловому шпилью, как будто нарочно поставленному здесь природой. Потом выкарабкался на риф, лег на живот и придвинул шкафут лодки в уровень с рифом, чтобы Эмелина могла высадиться. Он был босиком: подошвы его ног сделались бесчувственными от привычки.

Эмелина также была без обуви, но ее подошвы остались чувствительными, как это часто бывает с нервными людьми, и она старательно избегала шероховатостей, подвигаясь к Падди с венком в правой руке.

Было время полного прилива, и риф сотрясался от ударов валов. С ветром долетали всплески брызг, а унылое «хай, хай!» кружащих чаек казалось гиканьем призрачных матросов.

Падди лежал на боку, спрятав лицо на сгибе правой руки. Левая татуированная рука лежала на бедре ладонью вверх. Шляпы на нем не было, и ветер шевелил седыми волосами.

Дети подкрались вилотную к спящему. Эмелина со смехом опустила гилянду ему на голову, а Дик хлопнулся на колени и крикнул ему в ухо. Но тот не двинул пальцем—не шелохнулся.

Дик потащил лежащую фигуру за плечо. Она опрокинулась на спину; глаза были вытаращены; из широкого раскрытого рта выбежал маленький краб; он соскользнул с подбородка и упал на коралл.

Эмелина кричала, кричала, не переставая. Она упала бы, если бы Дик не подхватил ее на руки: одна сторона лица старого матроса оказалась изъеденной червями.

Мальчик прижал Эмелину к себе и уставился на ужасную фигуру, лежавшую навзничь на скале, с раскинутыми руками. И вдруг, обезумев от страха, потащил девочку к шлюпке. Она задыхалась и глотала воздух, как если бы захлебывалась в ледяной воде.

Единственной мыслью Дика было бежать, лететь куда глаза глядят. Он стащил Эмелину к окраине коралла и придвинул лодку. Минуту спустя, он уже греб, что было сил, к берегу.

Он не знал, что произошло, и не останавливался подумать: он слепо бежал от безымянного ужаса, а девочка у его ног безмолвно сидела, откинувшись головой на шкафут и вперив взгляд в беспредельную синеву небес, точно видела там что-то страшное... Лодка врезалась в белый песок, и размах прилива повернул ее бортом к берегу.

Эмелина свалилась вперед: она потеряла сознание.

XX. О д н и.

Должно-быть, понятие о вечной жизни вложено сердцу человека, ибо дети всю ночь пролежали, прикурнув друг к другу в страхе, что вот-вот войдет в хижину их старый друг и захочет улечься рядом с ними...

Они не говорили о нем. Что-то случится с ним, что-то ужасное случится с тем миром, в котором они жили. Но они не смели говорить об этом.

Весь день они провели в хижине без пищи. Теперь, в потемках, Дик все убеждал девочку не бояться, обещая оберегать ее. Но ни слова о случившемся.

Да они и не знали бы, что сказать. Смерть открылась им во всей своей наготы. Они ничего не знали о философии, говорящей, что смерть есть общий удел и естественное последствие рождения, ни о вере, учащей, что смерть есть дверь к новой жизни.

Старый матрос, валившийся гниющей падалью на коралловом рифе, неподвижные мутные глаза, широко раскрытый рот, из которого когда-то исходили ласковые слова, а теперь выходят живые крабы, — вот видение, неотступно стоявшее перед ними.

Лестрандж воспитал их по-своему. Стараясь устранить всякую мысль о грехе и смерти, он удовлетворялся простым заявлением, что существует добрый Бог, который заботится о всем мире. Таким образом их понятие о Боге было самым смутным, и в эту ночь ужаса им нигде было искать поддержки, как только друг в друге. Она — в сознании его покровительства, он — в сознании того, что служит ей покровителем. За эти несколько часов мужественное начало его характера, более великое и прекрасное, чем физическая сила, развилось и окрепло, подобно спешно выгнанному цветку растения.

На рассвете Эмелина уснула. Убедившись в том из ее мерного дыхания, Дик выбрался из хижины и, раздвигая плети лоз и побеги абрикосовых деревьев, спустился к берегу. Светало, и с моря дул утренний ветерок.

Ночью Эмелина умоляла его увезти ее отсюда, и он обещал, не зная сам, как сдержать данное слово. Пока он стоял здесь и смотрел на берег, казавшийся теперь таким унылым, таким непохожим на вчерашний, его вдруг осенила мысль, каким образом он может исполнить свое обещание.

Под деревом, прикрытые взятым с *Шенандоа* стакселем, лежали все их сокровища: старое платье и обувь, драгоценный табак, запечатый в полотняный мешочек, швейный прибор и всякая мелочь. Они вырыли для них яму в песке, а стаксель предохранял их от росы.

Сильнее уже выглядывало из-за горизонта, и высокие пальмы начинали петь и шептаться под усиливающимся ветром.

XXI. Переселение.

Дик принялся перетаскивать вещи в шлюпку.

Взял стаксель и вообще все, что могло пригодиться; наполнил боченок водой из родника, набрал бананов и хлебных плодов, прихватил даже остатки вчерашнего завтрака, завернутые им накануне в листья пальметто.



Обогнув маленький мыс, плывший красными цветами, шлюпка неожиданно очутилась в новом мире.

чадивавших к берегу кораблей придет в голову обследовать лагуну и остров? Вероятнее всего, что ни одному.

Время от времени Дик отправлялся на шлюпке на старое пепелище, но Эмелина отказывалась сопровождать его. Он, главным образом, навещал туда за бананами, так как на всем острове была всего-на-всего одна группа банановых деревьев,—та, что росла у водопада в лесу, где они нашли зеленые черепа и боченок.

Эмме ина никогда не оправилась вполне от драмы на рифе. Ей показали нечто, значение чего она смутно поняла, и место, где это случилось, осталось навсегда облеченным ужасом и страхом. С Диком совсем не то. Конечно, он тогда сильно напугался, но мало-по-малу чувство это изгладилось.

В течение этих пяти лет Дик построил три дома. Он засадил грядку таро и грядку пататов. Он изучил каждую лужицу на рифе на две мили в оба конца и вид и нравы их обитателей, хотя имена последних и были ему неизвестны.

Немало он перевидал диковинного за эти пять лет,—начиная с боя между китом и двумя «молотильщиками» за рифом, продолжавшегося целый час и окрасившего волны кровью, и кончая падежом рыбы, отравленной пресной водой, заполнившей лагуну от небывало сильных дождей.

Он изучил наизусть леса задней части острова и все формы жизни в них,—и бабочек, и птиц, и ящериц, и странного вида насекомых; необыкновенные орхидеи, иные прекрасные, другие отталкивающие, как подлинный образ разложения, но все до единой странные. Он добывал тут дыни, и гуавы, и хлебный плод, талтийские красные яблоки, бразильские сливы, таро в изобилии, и много других лакомых вещей,—но бананов здесь не было. Это временами огорчало его, так как он не был чужд человеческих слабостей.

Хотя Эмелина и спрашивала Коко о Дике, но делала это она только для разговора, так как превосходно слышала его в соседней бамбуковой роще.

Вскоре он и сам появился, таща за собой две бамбуковые жерди и отирая пот со лба. На нем были надеты всего на всего старые панталоны, уцелевшие до сих пор из добычи с *Шемандоа*, и, при виде его, было на что посмотреть!

Русый и стройный, более похожий на семнадцатилетнего юношу, чем на пятнадцатилетнего мальчика, с живым и смелым выражением лица, полудитя, полумужчина, полудикарь, получивилизованный человек, он одновременно ушел вперед и назад за эти пять лет дикой жизни.

Он шел рядом с Эмелиной, попробовал на палец лезвие старого кухонного ножа и начал обстругивать одну из жердей.

— Что ты делаешь? — спросила Эмелина.

— Багор,— кратко отвечал Дик. Не будучи угрюмым, он, однако, не тратил слов попусту. Говоря с Эмелиной, он всегда выражался короткими фразами; в то же время он приобрел привычку говорить с неодушевленными предметами,—с багром, который обстругивал, с миской, которую вырезывал из ореховой скорлупы.

Что касается Эмелины, она и в детстве не была болтливой. В ней всегда была какая-то скрытность, какая-то таинственность. Хотя она говорила мало, и почти всегда о будничных нуждах их жизни, ум ее блуждал в отвлеченных пространствах, в мире химер и грез. Что она находила там, никто не знал,—сама она, быть может, меньше всех.

Дик, наоборот, всецело принадлежал минуте и, повидимому, окончательно забыл о прошлом.

Однако и на него нападало подчас созерцательное настроение. Тогда он целыми часами пролеживал, свесив голову над прудком, изучая странных его обитателей, или неподвижно просиживал в лесу, наблюдая птиц и ящериц. Птицы подходили так близко, что он легко мог бы зашибить их, но он никогда их не трогал, и вообще никоим образом не нарушал покоя диких лесных созданий.

Остров, лагуна и риф были для него тремя томами большой книги с картинками, точно так же, как и для Эмелины, только говорили они каждому из них разное. Краски и красоты всего этого питали какую-то таинственную потребность в душе девушки. Жизнь ее была долгим мечтанием, прекрасным видением, но все же смущаемым тенями. По ту сторону голубых и разноцветных пространств, означавших месяцы и года, она все еще могла видеть, как сквозь тусклое стекло, *Нортумберленд*, смутно дымящийся на диком фоне тумана, лицо дяди, Бостон, а ближе—трагическую фигуру на рифе, все еще смущавшую ее сон. Но Дикю она никогда не говорила обо всем этом. Точно так же, как прежде хранила в тайне содержимое коробки, и свое горе, когда лишилась его, так и теперь она хранила тайне то чувство, которое внушали ей эти воспоминания.

Они породили в ней смутный страх, никогда не покидавший ее — страх потерять Дика. Нянюшка Стеннард, дядя, туманные бостонские знакомые — все они ушли из ее жизни, как сон или тень. И тот, другой, тоже, да еще таким ужасным образом. Что, если у нее отнимут еще и Дика?

Давно уже ее угнетала эта неотступная забота; но еще несколько месяцев тому назад страх ее был, главным образом, эгоистическим — страх остаться одной. В самое же последнее время страх этот изменился, стал острее. Дик сделался иным в ее глазах, и боялась она теперь за него. Собственная ее личность странным и внезапным образом слилась с его личностью. Жизнь без него казалась невысказанной, а между тем страх не уходил, стоя темной угрозой в лазури.

Иные дни бывали хуже других. Сегодня, например, было хуже, чем вчера, как будто за ночь к ним подкралась какая-то опасность. А между тем, небо и море были безмятежны, солнце золотило цветы и листья, и голос рифа доносился, как напев колыбельной песни. Ничто не говорило об опасности и недоверии.

Наконец, Дик закончил багор и встал на ноги.

— Ты куда? — спросила Эмелина.

— На риф,—отвечал он.—Начался отлив.

— Я пойду с тобой,—сказала она.

Он вошел в дом, чтобы надежно спрятать драгоценный нож. Потом вышел, с багром в одной руке и длинной лианой в другой. Лиана предназна-

чалась для нанизывания пойманной рыбы. Дик спустился к шлюпке, привязанной у берега к вбитому в мягкую почву колу, Эмелина уселась, и они отправились. Начинался отлив.

Уже известно, что в одном месте риф далеко отстоял от берега. Лагуна была так мелка, что во время отлива можно было бы пройти поперек нее в брод, когда бы не разбросанные там и сям ямы, футов в десять глубины, да большие залежи истлевшего коралла, в котором можно было погрязнуть, не говоря уже о морской крапиве. Были там и другие опасности; мелкая вода в тропиках всегда изобилует неожиданностями в смысле жизни и смерти.

Дик давно запечатлел в своей памяти расположение лагуны, и хорошо, что он обладал тем свойством ориентироваться, которое служит главной опорой охотнику и дикарю. Благодаря расположению коралла в виде ребер, вода от берега к рифу направлялась дорожками. Две только из этих дорожек представляли достаточно свободный проход до конца; во всех остальных шлюпка неминуемо застряла бы на полпути.

Дик привязал лодку к выступу коралла и помог Эмелине выйти, после чего разделся и принялся за ловлю. Он носился на окраине прибоя, являя довольно-таки дикую картину, с багром в руке, на фоне брызг и пены. Временами он бросался ничком, прицепившись к уступу коралла, и волны бились вокруг и перекачивались через него, после чего он вскакивал и отряхивался, как собака, блестя влагой с ног до головы, и снова принимался за охоту.

Минутами к Эмелине доносилось его ликующее гиканье, сливающееся с громом прибоя и диким криком чаек, и она видела, как он погружает багор в лужу и тотчас скидывает его вверх с чем-то сверкающим и извивающимся на конце.

На рифе он был совсем другим, чем на берегу. Дикость окружающего странным образом вызывала наружу все, что было дикого в его природе, и он убивал, убивал без конца, ради самого разрушения, истребляя гораздо больше рыбы, чем они могли съесть.

XXIV. Жизнь кораллового рифа.

История коралла еще не написана. Существует распространенное мнение о том, что коралловые рифы и острова производятся «насекомым». Гений и терпение этого баснословного насекомого ставятся людям в пример. А между тем, ничто не может быть медлительнее и ленивее, чем «рифостроительный полифер», — чтобы назвать его научным его именем. Это не что иное, как неповоротливый студенистый червяк, который притягивает к себе известковые частицы воды для постройки жилья: заметьте при этом, что строят-то не он, а море; после чего он умирает и оставляет после себя дом, да вдобавок еще репутацию труженика, перед которой бледнеет слава муравья и пчелы.

Ходя по коралловому рифу, вы ступаете по камню, выстроенному многими поколениями полиферов. Можно бы подумать, что камень этот без-

жизнен, но нет: в этом-то и все чудо,— коралловый риф наполовину живой. Иначе он не устоял бы и десяти лет против действия моря. Живая часть рифа именно та, которая прикрыта водой. Студенистый полифер гибнет почти немедленно, будучи подвержен действию солнца.

Когда-нибудь, во время отлива, если не побойтесь быть сметенными валами, пройдитесь как можно дальше по рифу, и вы, быть может, увидите их в живом состоянии, увидите большие массы того, что кажется камнем, но что на деле не что иное, как коралловые соты, полные живых полиферов. Жители верхних ячеек почти всегда мертвы, но нижние—полны живых.

Вечно умирать и вечно обновляться, быть пожираемым рыбами и разрушаемым морем — вот она, жизнь кораллового рифа. Он не менее жив, чем капуста или дерево. Каждая буря отрывает кусок рифа, который живой коралл спешит заменить; на нем открываются настоящие раны, и эти раны рубцуются и заживают, как на человеческом теле.

Пожалуй, что нет в целом мире ничего более таинственного, чем этот факт существования живой земли: земли, обновляющей себя, когда ей нанесен ущерб путем жизненного процесса, и противодействующей вечным нападением моря путем жизненной силы. Это тем более кажется удивительным, когда подумаешь о размерах некоторых из этих островов или атоллов, жизнь которых является вечной борьбой с волнами.

В противоположность острову нашего рассказа (острову, окруженному коралловым рифом, замыкающим в себе часть моря—лагуну), эти острова образуются из самих рифов. Риф может быть и поросшим деревьями, и совершенно лишенным растительности, и испещренным островками. Островки могут существовать и внутри лагуны, но в большинстве случаев это просто-напросто большое пустынное озеро, с дном из песка и коралла, населенное совсем иной жизнью, нежели жизнь внешнего океана, защищенное от валов и отражающее небо, как зеркало.

Когда подумаешь, что атолл—органическое, полное жизни, целое, самое скудное воображение не может не поразиться обширностью этих сооружений.

Атоллы флигет в Нижнем Архипелаге имеют шестьдесят миль длины, на двадцать ширины, в наиболее широком месте. В группе Маршалских островов о. Римского-Корсакова—живое существо, развивающееся и растущее, более высоко организованное, чем кокосовые пальмы, вырастающие на его спине, или цветы, украшающие его рощи.

История коралла—история целого мира, и самая длинная ее глава та, которая говорит о бесконечном его разнообразии.

На краю рифа, с которого Дик багрил рыбу, можно было видеть мох персикового цвета. Этот мох был также одним из видов коралла. В сотне шагов от того места, где сидела Эммелина, в прудках виднелись кораллы всех оттенков, начиная с темно-красного и кончая чисто белым, а в лагуне позади—кораллы самых разнообразных и диковинных форм.

Дик оставил на рифе заколотую им рыбу. Ему наскучило убивать, и он прохаживался теперь по утесам, рассматривая попадавшиеся ему живые существа.

На рифе обитали огромные слизняки, ростом с крупный пастернак и приблизительно одной с ним формы; валялись остовы больших каракатиц—плоские, белые и блестящие; акулы зубы; позвончики морских ежей; порой мертвая рыба, с животом, раздутым от проглоченных ею кусков коралла; бегали крабы; лежали морские водоросли странных форм и оттенков; морские звезды, иные крошечные и яркие, как красный перец, другие огромные и бесцветные. Все это и тысячу иных созданий, странных или прекрасных, можно было увидеть на рифе.

Дик положил багор на утес и занялся исследованием глубокого прудка в форме ванны. Он уже погрузился до колен, и намеревался погрузиться еще глубже, как вдруг что-то схватило его за ногу. Казалось, будто за ступню его закинули мертвую петлю и тут же притянули ее. Он вскрикнул от боли, и вдруг из воды взвилась гибкая плеть, захлестнула его левое колено и приковала его к месту.

XXV. Что скрывалось под красотой.

Сидя на коралловом утесе, Эмелина на время позабыла о Дике. Солнце садилось, и риф и вода прудков были залиты жарким янтарным светом заката. В этот час заката и отлива риф имел для нее особенное обаяние. Она любила запах водорослей на солнце, и мятельная тревога прибора казалась временно затихшей. Впереди нее и по обеим сторонам, обрызганный пеной, коралл отсвечивал золотом и янтарем, а Великий океан мирно катился, блистающий и безгласный, пока не достигал берега, где разражался пеною и брызгами.

Здесь, как и с вершины холма в том конце острова, можно было отметить ритм валов. «Навеки и навеки, навеки и навеки», казалось, твердили они.

Вместе с пеной ветер приносил крики чаек. Они реяли над рифом, как тревожные духи, не знающие покоя; но на закате крик их звучал менее тоскливо, быть может, потому, что и весь остров казался обвеянным духом мира.

Она отвернулась от моря и глянула через лагуну на остров. Можно было различить широкую зеленую просеку и желтое пятнышко крыши, почти закрытое тенью деревьев. Длинные перья высоких пальм возвышались над остальными деревьями леса на фоне темнеющей синевы восточной части неба.

При чарующем освещении заката вся картина казалась сверхъестественным, прекрасным сном. На рассвете бывало еще прекраснее, когда над погруженным в потемки островом, на фоне звезд, видно было, как загораются макушки пальм, и дневной свет, как дух, надвигается над лагуной и над морем, становясь все шире и ярче, развертываясь, как веер; и вот внезапно ночь обращалась в день, кричали чайки, валы сверкали, дул рассветный ветерочек, и пальмы кивали, как умеют кивать только они одни. Эмелина всегда воображала себя одной на острове с Диком, но тут же была и красота, а красота—великий товарищ.

Девушка залюбовалась открывавшейся перед ней картиной. Природа казалась в самом дружелюбном настроении и точно говорила: «Смотри на

меня! Люди зовут меня жестокой и обманчивой, даже предательской. Я же... ах! один у меня ответ: смотри на меня!»

Внезапно со стороны моря донесся крик. Эмелина быстро оглянулась. Дик стоял по колено в воде, в сотне шагов от нее, подняв руки и зовя на помощь. Она мигом вскочила на ноги.

В этой части рифа был когда-то крошечный островок, состоявший из нескольких пальм и горсти иной растительности и разрушенный, вероятно, во время бури. Это обстоятельство способствовало спасению Дика. В местах, где есть или были подобные островки, на рифе образуются ровные площадки из кораллового конгломерата. Никогда Эмелина не могла бы подоспеть во-время босиком по неровному кораллу: счастье её и Дика, что между ними лежала сравнительно ровная поверхность.

— Багор!—крикнул ей Дик.

Сразу она вообразила, что он запутался в колючках, потом почудилось, будто вокруг него обмотаны веревки, которыми он прикреплен к чему-то в воде,—но что бы это ни было, было в высшей степени ужасно, безобразно, похоже на кошмар. С быстротой Аталанты, она понеслась к утесу, на котором лежал багор, еще обгащенный кровью убитой рыбы.

Когда, захлебываясь от страха, она подбежала к Дик, то увидела, что веревки эти живые и что они трепещут и извиваются у него за спиной. Одна из них прихватила его левую руку, приковав ее к туловищу, но правая его рука оставалась на свободе.

— Скорее!—кричал он.

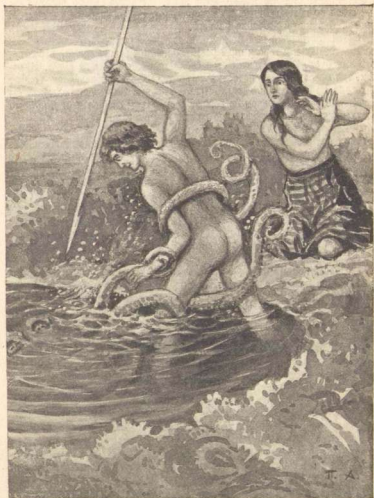
В одно мгновение багор очутился в его свободной руке, а Эмелина бросилась на колени, с ужасом заглядывая в прудок и готовая, несмотря на весь свой страх, принять участие в борьбе, в случае надобности.

То, что она увидела, было лишь мимолетным видением. Из глубины прудка, уставившись прямо на Дика, смотрело угрюмое, ужасное лицо. Глаза были ростом с блюдечко и неподвижные, как камень. Перед глазами болтался грузный крючковатый клюв, кивая и как бы маяя к себе. Но что поистине леденило сердце, так это выражение глаз, таких угрюмых и каменных, таких бессознательных, а между тем столь непоколебимых и роковых.

Осьминог был некогда изображен из камня японским художником. Изваяние уцелело до сих пор и является самым устрашающим произведением скульптуры. Оно представляет человека, застигнутого осьминогом во время купанья. Человек кричит и рвется в безумном страхе, угрожая чудовищу свободной рукой. Глаза последнего устремлены на человека, бесстрастные и мрачные, но непоколебимые и стойкие.

Из воды, с облаком брызг, взвилась новая плеть и ухватила Дика за левое бедро. В этот миг Дик вонзил острие багра в левый глаз чудовища. Орудие глубоко пронизало глаз и мягкую ткань позади и раскололось о камень. И тут же вода прудка почернела, как чернила, сплывавшие его узы ослабли,—он был свободен.

Эмелина вскочила и бросилась к нему, рыдая, прижимаясь к нему и осыпая его поцелуями. Он обнял ее левой рукой, как бы защищая ее, но это было бессознательно. Он не думал о ней. Обезумев от бешенства, он с хриплым криком продолжал погружать сломанный багор в воду еще и



Дик вонзил острие багра в правый глаз чудовища.

еще, ища без остатка истребить врага, только что державшего его в тисках. Мало-по-малу он пришел в себя, отер лоб рукой и взглянул на сломанный багор.

— Гадина!—сказал он.—Видала ты его глаза? Видала ты его глаза?.. Я хотел бы, чтобы у него было сто глаз, а у меня сто багров, чтобы вонзить в них!

Эмелина льнула к нему, плача и смеясь и восторженно заглядывая в глаза победителю. Можно было подумать, что не она его, а он ее спас от смерти.

Солнце уже закатилось. Он повел ее к пляжке, подбирая по пути брошенные штаны и убитую рыбу. Во время обратного пути он болтал и смеялся, припоминая подробности борьбы и приписывая всю честь ее самому себе, словно совершенно позабыл о важной роли, которую сыграла в ней Эмелина.

Тут не было ни грубости чувств, ни неблагодарности. Просто за последние пять лет он привык быть началом и концом их крошечной общины,—ее самодержавным властелином. Он не благодарил ее за то, что она подала ему багор, как и не благодарил свою правую руку за то, что она нанесла удар. Но ей не надо было ни благодарности ни похвалы. Все, что она имела, исходило от него; она была рабой его и тенью. Он же—ее солнцем.

После бесконечных повторений о том, что он сделал с сегодняшним чудовищем и что сделает со следующим, Дик, наконец, улегся на постель из сухого папоротника, укрылся полосатой фланелью и уснул, храпя и бормоча во сне, как собака, преследующая воображаемую добычу. Эмелина без сна лежала рядом с ним. В жизнь ее вошел новый ужас. Вторично ей предстала смерть, но на этот раз деятельная и осязаемая.

XXVI. Бой барабана.

На следующий день Дик сидел в тени хлебного дерева. Рядом с ним лежала коробка с крючками, один из которых он прикреплял к удочке, так как намеревался сходить завтра на старое место за бананами и попытать по пути счастье за крупную рыбу в глубоком месте лагуны. Когда-то в коробке имелось дюжины две крючков; их оставалось теперь всего шесть—четыре маленьких и два больших.

День клонился к вечеру, стало уже прохладнее. Эмелина сидела напротив него, держа конец лесы; вдруг она подняла голову и стала прислушиваться.

Стояла полная тишина. Издали доносились вздохи прибой,—единственный уловимый звук, кроме редкого трепетания крыльев Коко на дереве. И вдруг к голосу прибой примешался другой—слабый, ритмический звук, похожий на бой барабана.

— Слушай!—воскликнула Эмелина.

Дик прислушался. Все звуки острова были привычны; в этом же было нечто совсем новое.

Слабо и далеко, то быстро, то медленно... Откуда шел он? Как звать? Порой казалось, что с моря, порой, что из лес. Пока они прислушивались

вверху пронесся вздох; это поднимался вечерний ветерок. Подобно тому, как стирают рисунок с грифельной доски, ветерок уничтожил новый звук. Дик снова принялся за работу.

На следующее утро он спозаранку отправился на шлюпке, с удочкой и сырой рыбой для приманки. Эмелина долго махала ему с берега, пока он огибал маленький мыс.

Эти экспедиции Дика бывали для нее немалым огорчением. Ужасно было оставаться одной; тем не менее, она никогда не жаловалась. Она жила в раю, но что-то твердило ей, что за всей этой красотой, за всей этой нарочитой видимостью счастья, в природе скрывается угроза и дракон несчастья.

Дик сделал около мили, после чего оставил весла в уключинах и пустил шлюпку по течению. Вода здесь была так глубока, что дна не было видно, несмотря на ее прозрачность; лучи солнца наполняли ее искрами, падая наискось из-за рифа.

Рыболов насадил приманку на крючок и глубоко опустил его, затем прикрепил удочку к болту; сев на дно лодки, он свесил голову через борт и стал глядеть в воду. Временами ничего не было видно, кроме водной синевы. Временами внизу мелькала стая мелких рыб или в тени лодки внезапно появлялась большая рыба и висла неподвижно, слегка лишь подрагивая жабрами, потом вдруг исчезала, дернув хвостом.

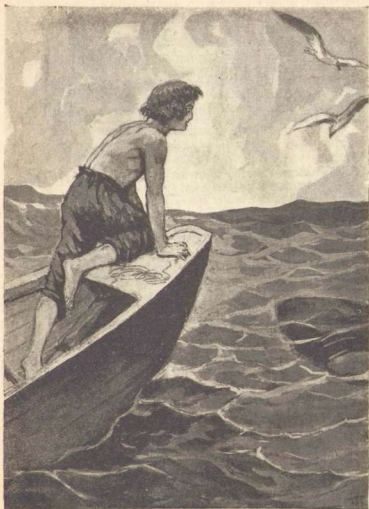
Внезапно шлюпка накрепилась, не опрокинувшись потому лишь, что Дик сидел с обратной стороны от удочки. Потом лодка выпрямилась, удочка ослабла, и поверхность лагуны, немного поодаль, закипела, как если бы ее мешали снизу большой серебряной палкой. На удочку попался альбикор. Дик привязал конец удочки к веслу, отвязал ее от болта и швырнул весло за борт.

Все это он проделал с необычайной быстротой, пока удочка была еще слаба. Мгновенно спусти весло уже проворно носилось по лагуне, то к рифу, то к берегу, то плашмя, то ребром. Оно казалось не только живым, но воодушевленным злобным намерением. И точно: самое злобное и разумное из живых существ не могло бы умнее бороться с большой рыбой.

Альбикор бешено метался к рифу, надеясь спастись в открытом море. Потом, остановленный веслом, игравшим роль поплавка, подергивался туда-сюда в нерешимости и столь же неистово бросался вверх по лагуне. То искал он глубины, погружая весло на несколько сажень в воду, то взмывался на воздух, как серебряный серп, шлепаясь обратно с плеском, далеко и звонко прокатывавшимся по побережью. Прошел целый час прежде, чем большая рыба начала обнаруживать признаки усталости.

До сих пор борьба происходила вблизи от берега, но теперь весло выплыло на середину водного пространства и пришлось описывать большие круги. Грустно было думать о большой рыбе, так стойко защищавшей свою жизнь, а теперь бессмысленно кружившей там, на глубине, в слабости и ошеломлении.

Гребя вторым веслом, Дик подплыл к месту борьбы, выловил весло и принялся постепенно вытаскивать удочку из воды.



Водная глубь затмилась чудовищной серой тканью.

Шум борьбы разнесся по лагуне на несколько миль. Его прослышал и сам хозяин ее. Воду взрыбил темный плавник, и когда Дик ближе подтянул свою добычу, водная глубь затмилась чудовищной серой тенью, и сверкающая стрела альбикора исчезла, словно поглощенная тучей. Удочка пошла легче, и Дик поднял на борт голову альбикора, отделенную от туловища как бы огромными пожнинами. Серая тень скользнула под бортом, и Дик, обезумев от злобы, с криком погрозил ей кулаком; затем, выдернув крючок из головы, швырнул ее в чудовище.

Взмахнув хвостом, так, что лодка закачалась, большая акула перевернулась на спину и проглотила голову; затем медленно погрузилась и исчезла, словно растаяв в воде. Первая из их встреч завершилась для нее победой.

XXVII. Паруса на море.

Дик взялся за весла. Ему предстояло еще сделать три мили, и начинался прилив, что немало затрудняло путь. Гребя, он ворчал про себя, что нередко стало случаться с ним за последнее время, и главной тому причиной была Эмелина.

Что-то изменилось в ней за последние месяцы. Ему казалось, что вместо Эмелины на острове появилось новое существо. Он не знал, что именно с ней произошло: он знал только, что она сделалась иной.

Еще полгода назад он был совсем доволен своей судьбой: спал и ел, добывал пищу и перестраивал дом, обрыскивал леса и риф. Теперь же им овладел какой-то дух беспокойства. Был ли то дух цивилизации, шептавший ему об улицах и домах, о борьбе за золото и власть? Или просто-напросто человек в нем взывал к любви, не подозревал, что любовь у него под рукой?—как знать?

Шлюпка скользила вдоль тенистых берегов, потом обогнула мыс и очутилась напротив проливчика на рифе. Но Дик смотрел не туда,—он вперил взгляд на крошечное темное пятнышко на рифе, заметное только для тех глаз, которые искали его. Каждый раз, достигнув этого места, он останавливался и смотрел туда, где гремели валы и кричали чайки.

Несколько лет тому назад это место внушало ему не меньше ужаса, чем любопытства; время притупило чувство ужаса, но любопытство сохранилось,—то любопытство, с которым ребенок смотрит на убийство животного, хотя бы душа его и возмущалась им. Постояв немного, он снова принялся гребти, и шлюпка причалила к берегу.

Что-то случилось на берегу. Песок был весь перерыт и местами окрашен в красное; посредине еще лежали остатки большого костра, а там, где вода плескалась о песок, легли две глубокие борозды, очевидно, проделанные двумя тяжелыми лодками. Тихоокеанский житель сейчас же заключил бы из формы борозд, что сюда причаливали два тяжелых челнока. Так оно и было на самом деле.

Накануне, после полудня, два челнока пришедшие, вероятно, с того далекого островка, пятном лежавшего на юго-западе, вошли в лагуну, один в погоне за другим.

Над тем, что произошло здесь, лучше спустить завесу. Леса дрожали от боя барабана из акульей шкуры; всю ночь праздновалась победа, а на заре победители забрали оба челнока и отправились в тот ад, откуда пришли. Если внимательно присмотреться к взморью, вдоль него виднелась глубоко проведенная линия, за которой уже не было следов: это означало, что остальной остров почему-либо *табу*. (Табу—у дикарей Полинезии—объявить запретным, неприкосновенным какой-нибудь предмет, лицо или место.)

Дик вытащил нос лодки на песок и осмотрелся. Он поднял с песка сломанный дротик: он оказался сделанным из твердого дерева и снабженным железным острием. Справа, между кокосовыми пальмами, виднелась какая-то гряда. Он подошел,—это была куча внутренностей. Представлялось, будто здесь зарезали дюжину овец, а между тем, овец на острове не было.

Песок на взморье говорил красноречивую повесть. Нога нападавшего и нога бежавшего; колено побежденного, затем отпечаток лба и распротертых рук; пятка человека, который растоптал и расплющил тело врага, проделал в нем отверстие, продел в него свою голову и стоял, буквально одевшись своей жертвой, как плащом; голова того, кого волочили по песку, чтобы зарезать, как овцу,—вот о чем говорил песок.

Поскольку он мог говорить, повесть сражения еще была жива: крики и стоны, стук дубин и копий умолкли, но призрак боя все еще стоял над берегом.

Дика охватило трепетное чувство, что он еле-еле избежал опасности. Те, что были здесь, ушли,—да, но куда? В море ли, или вдоль по лагуне?.. Он поднялся на холм и окинул море глазами. Далеко на юго-западе он разглядел темные паруса двух челноков. Было что-то невыразимо печальное в их виде; они казались увядшими листьями, коричневыми мотыльками, увесенными в море, отбросами осени. При мысли же о том, что говорил прибрежный песок, эти поobleкшие лохмотья облеклись ужасом в глазах зрителя. Они спешили прочь, свершив свое темное дело, и то, что они казались печальными и ветхими, как сухие листья, лишь делало их еще более ужасными.

Дик никогда еще не видал челноков, но он понял, что это какие-то лодки, в которых находятся люди, и что эти-то люди и оставили следы на песке. В какой-степени его подсознательный рассудок оценивал весь ужас случившегося,—кто скажет о том?

Он взобрался на утес, и сидел теперь, охватив колени руками. Когда бы он ни возвращался на этот конец острова, каждый раз случалось что-нибудь роковое. В последний раз он едва не потерял шлюпки; отлив смыл ее с берега и уже уносил из лагуны в море, когда он вернулся с бананами и, бросившись по полю в воду, успел ее спасти. В другой раз он чуть не убился, свалившись с дерева. А потом случилось еще, что налетел шквал, вспенив лагуну, и начал швыряться кокосовыми орехами, как мячиками. Тогда он так же едва избежал чего-то,—он сам не знал в точности чего. Казалось, будто Провидение говорит ему: «Не приходи сюда».

Он проследил паруса, пока они не исчезли из глаз, потом спустился собирать бананы. Он срезал четыре большие кисти, спес их в два приема в лодку и отчалил.

Давно уже ему не давало покоя жгучее любопытство, которого он наполовину стыдился. Породил это любопытство страх, и, быть может, в том чувстве, что он дерзко покушается на неведомое, и заключалось обаяние, которому он и уступил, наконец.

Проплыв некоторое расстояние, он завернул к рифу. Прошло пять лет с тех пор, как он переправил Эммелину с ее венком через лагуну. А казалось, будто это было вчера, до такой степени все осталось тем же. Гремящий прибой и летающие чайки, ослепительное солнце и свежий соленый запах моря, пальма при входе в лагуну попрежнему гляделась в воде, а на выступе коралла еще висел обрывок веревки, которую он обрезал при спешном бегстве.

Возможно, что за это время в лагуну и входили суда, но никто не заметил ничего на рифе, который открывался во всех подробностях лишь с макушки холма. С берега можно было только различить маленькую точку, которую легко принять за занесенный валами обломок.

Дик привязал лодку и вступил на риф. Дул сильный ветер, и сверху показался альбатрос, черный как черное дерево, с кроваво-красным клювом. Он описал в воздухе круг с свирепым криком, как бы досадуя на появление пришельца, потом отдался воле ветра, отнесшего его поперек лагуны в море.

Дик приблизился к знакомому месту. Вот старый боченок, покоробленный всеильным солнцем; дерево разохлось, обручи перержавели и распались, и то, что было внутри, вытекло давным-давно.

Рядом с боченком лежал скелет, на котором еще болтались редкие лохмотья. Череп скатился на бок, и нижняя челюсть отделилась от черепа; суставы рук и ног еще держались, и ребра были целы. Все это высохло и побелело, и солнце с одинаковым равнодушием смотрело на коралл и на остов того, что некогда было человеком. Ужасного в том ничего не было, но странно оно было и диковинно невыразимо.

Для Дика, не подготовленного с малых лет к мысли о смерти, не связывавшего ее с могилами и похоронами, с печалью и вечностью, зрелище это говорило то, чего не сказала бы ни вам, ни мне. При виде его в голове юноши стали слетаться в одно целое: скелеты птиц, найденные им в лесах, убитые им рыбы, даже деревья, гниющие на земле, даже скорлупы крабов.

Если бы вы спросили его, что лежит перед ним, и он сумел бы выразить свою мысль, он отвечал бы: «перемена».

Вся философия в мире не могла бы сказать ему о смерти больше, чем он узнал в эту минуту, — он, не знавший даже ее имени.

Он стоял неподвижно, околдованный силой чуда и роем мыслей, внезапно вторгшихся в его ум, как рой привидений, ворвавшихся в открытую дверь. Подобно тому, как ребенок, однажды обжегшись, знает, что огонь и впредь будет обжигать его или других, так и он познал, что точно таким же будет когда-нибудь его облик, — его и Эммелины.

Потом возник смутный вопрос, рождаемый не умом, а сердцем: *где буду я тогда?* Впервые в жизни он впал в раздумье; труп, устранивший его пять лет назад, заронил безжизненными пальцами семена мысли в его мозг,

скелет привел их к зрелости. Перед ним во всей своей полноте встал факт всеобщей смерти,—и он признал его.

Долго простоял он неподвижно, потом со вздохом повернул к лодке и оттолкнул ее от рифа, не оглядываясь. Потом медленно отправился домой, держась поближе к берегу.

Даже глядя на него с берега, можно было бы заметить наступившую в нем перемену. Дикарь в лодке всегда настороже,—он весь глаза и уши. Дик же, гребя обратно, не смотрел вокруг: он думал и размышлял, дикарь в нем отодвинулся на задний план. Обогнув маленький мыс, пылавший цветом дикаго кокоса, он оглянулся через плечо. У воды стояла фигура: это была Эмелина.

XXVIII. Ш к у н а.

Они снесли бананы к дому и развесили их на сучке хлебного дерева, после чего Дик развел костер для ужина. После еды он отправился к месту, где привязывал шлюпку, и возвратился с частями сломанного дротика.

Эмелина сидела на траве, подрубливая кусок полосатой фланели. Другая полоса такой же фланели была надета на ней в виде шарфа. Птица прыгала перед ней, и ветер шевелил узорчатыми листьями хлебного дерева, трепетавшими вверху шелестом дождевых капель.

— Где ты это достал?—спросила Эмелина, глядя на конец дротика, который Дик бросил рядом с ней, чтобы сходить в дом за ножом.

— Там, на берегу,—ответил он, садясь и начиная прилаживать один кусок к другому.

Эмелина глядела на них, мысленно воссоздавая из них одно целое. Не нравилась ей эта вещь: такая острая и дикая с виду и окрашенная чем-то темным.

— Там, видно, были люди на том конце,—добавил Дик, критически разглядывая свой труд. На песке лежало вот это, и весь песок был разворочен.

— Какие люди, Дик?

— Не знаю. Я поднялся на холм и видел, как уходили их лодки,—далеко-далеко.

— Дик,—продолжала Эмелина,—помнишь тот шум вчера? Я опять слыхала его ночью, перед тем как зашла луна.

— Это они и были,—сказал Дик.

— А что это за люди?

— Не знаю.

— Это было ночью, перед тем как зашла луна: все стучало и стучало в деревьях; я думала, что это во сне, но потом поняла, что нет. Попробовала растолкать тебя, но ты слишком крепко спал; потом луна закатилась, но шум продолжался. Как они делали этот шум?

— Не знаю,—отвечал Дик,—но то были они, и оставили вот это на песке, и песок был весь разворочен, и я видал их лодки с холма, далеко-далеко.

— Мне казалось, что я также слышу голоса, — сказала Эммелина, — но я не была уверена.

Она впала в задумчивость, глядя как он скрепляет обе части зловещего оружия вместе, связывая их полосой той рыжеватой оболочки, которой бываю окутаны стволы кокосовых пальм. Соединив их необычайно ловко и быстро, он взялся за острие вблизи от конца и воткнул несколько раз в песок, после чего отполировал обрывком фланели.

Все это доставляло ему острое наслаждение. Дротик не годился для багра, так как на нем не было зубины; как оружие, он был для него бесполезен, ибо на острове не с кем было сразиться: все же это было оружие, и этого было достаточно.

Кончив возиться с дротиком, он встал, сходил в дом за багром и отправился к шлюпке, зовя с собой Эммелину. Они переправились на риф, где он мигом разделся и принялся колесить по берегу, с дротиком в одной руке и багром в другой.

Эммелина уселась у маленького прудка, дно которого было наполнено разветвлениями коралла, и, глядя в глубину, призадумалась, как задумываются перед горящим камином. Она просидела так довольно долго, когда Дик внезапно вскрикнул. Она вскочила на ноги и обернулась в ту сторону, куда он указывал рукой. Там она увидела поразительное зрелище.

С востока, оглябая заворот рифа, подвигалась большая шкуна, и как была она хороша, плывя на всех парусах, с клубящейся у носа, подобной пышному белому перу, пеной!

Дик, с дротиком в руке, стоял и глядел на нее; он уронил багор и стоял неподвижно, как изваяние. Эммелина подбежала к нему и стала рядом. Ни он, ни она не проронили ни слова, глядя на подвигавшееся судно.

Оно было теперь так близко, что можно было рассмотреть все подробности, начиная с верхушки грот-мачты, всей пронизанной солнечным светом, и белой, как крыло чайки, и кончая перилами шкафута. На носу теснилась толпа людей, разглядывая остров и фигуры на рифе. Бронзовые от солнца и морского ветра лица, развевающиеся волосы Эммелины, сверкающее острие дротика в руке Дика, — все это, вместе взятое, составляло идеальных дикарей, если глядеть на них с палубы шкуны.

— Они уходят, — проговорила Эммелина с долгим вздохом облегчения.

Дик не отвечал; с минуту он еще простоял, не говоря ни слова, потом, убедившись, что корабль точно отдаляется, начал как безумный метаться взад и вперед по берегу, с криком махая руками, как бы призывая его возвратиться.

Мгновение спустя, с ветром донесся слабый клик; подняли флаг и спустили его, словно в насмешку, после чего судно продолжало путь.

Дело в том, что капитан одну минуту готов был причалить, не будучи уверен, кто такие люди на рифе, — дикари ли или жертвы кораблекрушения. Дротик в руке Дика решил вопрос в пользу предположения, что это были дикари.

XXIX. У подножия «Каменного Человека».

На ветках хлебного дерева теперь сидело две птицы: Коко взял себе подружку. Они свили гнездо из кокосовых волокон, из хворостинки и травы, — словом, из всякой всячины, не исключая даже частиц листьев с крыши. Птичье грабительство, созидание гнезд, — что за прелестные это подробности в великом эпизоде весны!

Здесь никогда не цвел боярышник, царило вечное лето, а между тем дух Мая веял точно так же, как веет в какой-нибудь деревне Старого Света. То, что происходило на дереве, очень интересовало Эмелину.

Все делалось там, как положено природой и как испокон века исполняется птицами. Сквозь листву просачивались всевозможные курьезные звуки: воркованье и кудахтанье, шедшее развевывающегося веера, звуки ссоры и звуки примирения. Иной раз, после ссоры сверху медленно спускалось голубое пушистое перо и замирало на крыше, либо сдувалось оттуда ветром на траву.

Однажды, спустя несколько дней после появления шкуны, Дик собрался в лес за гуявами. Все утро он просидел над плетением корзины для них. В цивилизованном мире он был бы инженером и строил бы мосты и суда, и, кто знает, был ли бы он от этого счастливее?

Полдневный жар уже спал, когда он двинулся в путь с Эмелиной по пятам, неся на плече корзину, привешенную к палке. Место, куда они направлялись, всегда внушало девушке смутный ужас, и ни за что она не пошла бы туда одна. Дик паткнулся на него во время своих блужданий по лесу.

Они вступили в лес и миновали небодыш колодец, с дном из тонкого белого песка и бахромой папоротников вокруг. Оставив его направо, они погрузились в самую глубь леса. Подвигаться было нетрудно, так как между деревьев пролегал тропы, как если бы здесь давным-давно была проложена дорога.

Поперек тропы перекинулись легкие лианы. Китайская роза пламенем пылала в тени. По сторонам высились хлебные деревья и кокосовые пальмы.

По мере того, как они подвигались, лес становился гуще и тропы слабее обозначенной. Внезапно, после крутого поворота, тропы заканчивалась у долины, устланной папоротниками. Это и было место, внушавшее неопределенный ужас Эмелине. Одна сторона долины была сплошь застроена террасами, сложенными из таких огромных глыб камня, что трудно было понять, как могли их одолеть древние строители.

Вдоль террас росли деревья, протискивая свои корни в скважины глыб. У подножия их, слегка наклонившись вперед от оседания почвы, стояла грубо высеченная из камня фигура футов в тридцать вышины, — таинственное с виду изваяние, казавшееся самым духом этого места. Фигура и террасы, долина и самые деревья, — все это вселяло в сердце Эмелины глубокое любопытство и смутный страх.

Когда-то здесь были люди: порой ей чудились темные тени среди стволов и слышался их шопот в шорохе листьев. Жуткое это было место, даже

среди бела дня. По всем островам Тихого океана, на тысячи миль вокруг, попадаются подобные памятники древности.

Все эти места поклонения бывают на один лад: большие каменные террасы, массивные идолы, унылые, притененные растительностью. Все это говорит об одной общей религии и времени, когда Тихий океан был материком, медленно погружившимся в море с течением веков и оставившим снаружи вершины гор в виде островов. В этих местах чаще гуще обыкновенного, что говорит о прежних священных рощах. Идолы огромны, лица их смутны: бури, солнце и дожди веков набросили на них завесу. Сфинкс—незамысловатая игрушка по сравнению с этими статуями, иные из которых имеют до пятидесяти футов вышины и сооружение которых окутано непроницаемой тайной,—боги исчезнувшего навеки-веков народа.

«Каменный Человек»,—так прозвала Эмелина идола долины, и когда ей не спалось по ночам, она всегда представляла себе, как он стоит один под светом луны или звезд, уставившись прямо перед собой в пустоту.

Представлялось, будто он вечно прислушивается. Глядя на него невольно хотелось также прислушаться, и тогда вся долина погружалась в сверхъестественную тишину. Нехорошо было оставаться с ним наедине...

Эмелина села у самого его подножия. Вблизи он утрачивал видимость жизни и казался просто большим камнем, отбрасывающим тень от солнца.

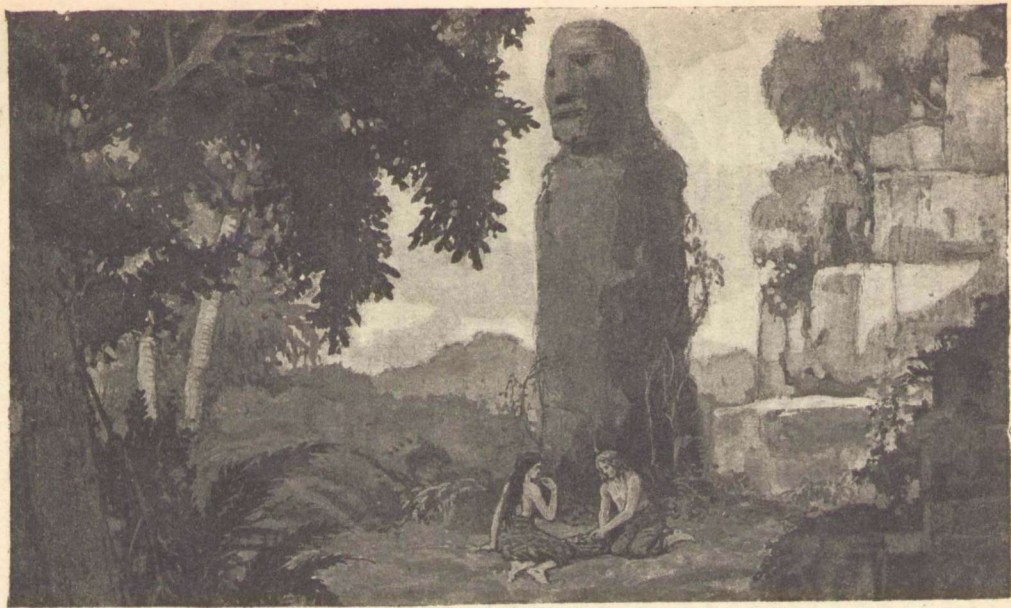
Дик передохнул немного, потом встал и погрузился в кусты, собирав гуавы в корзинку. С тех пор как он увидел шкуну, людей, мачты и паруса,—символ вольности, быстроты и неведомых приключений,—он сделался мрачнее и тревожнее, чем когда-либо. Возможно, что он мысленно связывал шкуну с далеким видением *Португербленда*, представлением об иных странах и внушаемым этими мыслями стремлением к перемене.

Он возвратился с полной корзинкой, дал плодов девушке и сел рядом с ней. Кончив есть, она взяла жердочку, на которой он принес корзинку, и принялась сгибать ее в форме лука, как вдруг та выскользнула у нее из рук и резко хлестнула юношу по щеке.

Мгновенно он обернулся и шлепнул ее по плечу. С минуту она смотрела на него в горестном недоумении, дыхание сперлось у нее в горле... И вдруг отдернулась какая-то завеса, простерся жезл чародея, разбился таинственный фиал. Пока она так глядела на него, он вдруг бурно стиснул ее в своих объятиях,—и остановился, ошеломленный, не зная, что ему делать. Ему сказали о том ее губы, слившиеся с его губами в поцелуе.

Раз как-то Дик влез на дерево над домом, согнал госпожу Коко с гнезда и заглянул внутрь. Там было несколько бледно-зеленых лиц. Он не стал их трогать и спустился вниз, а птица вернулась на прежнее место. Здесь птицы не боялись человека и нередко следовали за Эмелиной по лесу, подчас даже спускаясь к ней на плечо.

Время шло. Стремление Дика к скитаниям исчезло, и тревога его души улеглась. Дело в том, что нигде на свете он не нашел бы ничего лучшего, чем здесь, на острове.



Дик и Эммелина сели у подножия «Каменного Человека».

Теперь уже на рифе более не прохаживался дикарь с бессловесной подружкой по пятам, — на смену им явились два человеческих существа, любящих друг друга. В трогательной попытке украсить свое жилище, они посадили у двери голубой выюнок и провели его плети над входом.

Дик более не говорил с Эмmeliной краткими, отрывистыми фразами, как бы обращаясь к собаке; со своей стороны, она почти отрешилась от странной скрытности, угнетавшей ее с детства, и открыла ему свою душу. Странная эта была душа, — душа мечтателя, почти поэта. В ней обитали смутные образы, порожденные всем тем, что ей приходилось слышать или видеть во сне, разные мысли о море и звездах, о цветах и птицах.

Дик слушал ее, как слушают журчанье ручейка; его практический ум не разделял ее грез, но разговор ее был ему приятен. Иной раз он подолгу смотрел на нее, любуясь ее черными, блестящими волосами, ее маленькими ушками, похожими на белые раковины. Долгие часы они просиживали так, забывая о времени, в тени хлебного дерева, с верхушки которого смотрели на них ясноглазые птицы.

Любовь не мешала Дику быть деятельным. Он с прежним рвением предавался рыбной ловле. Рядом с гридкой таро он выкопал другую, — лопату он смастерил из одной из скамеек шлюпки, — и засеял ее семенами дынь, найденных в лесу; перекрыл крышу. Одним словом, они работали настолько, насколько это возможно в подобном климате. Как любишь возвращаться на старое место, чтобы воскресить память об отрадном или печальном впечатлении, так и они теперь возвращались в долину идола и подолгу просиживали в тени его. Невозможно выразить словами, как радостно было прогуливаться вдвоем в лесу, открывать новые цветы, сбиваться с пути и снова попадать на дорогу.

Дик неожиданно наткнулся на Любовь и не мог порадоваться своей находке.

Однажды он услышал странный звук на дереве над домом и влез посмотреть. Звук исходил из гнезда, временно оставленного госпожой Коко, и походил на задыхающееся хрипение. Из гнезда торчало четыре разинутых клюва птенцов, которые так сильно разевали их, что можно было заглянуть к ним в самый зоб. Это были дети Коко. Пройдет год, и эти безобразные комки пуха преобразятся в красивых птиц цвета сапфира, с сизым хвостом, кораллово-красным клювом и умными блестящими глазами. Несколько дней тому назад каждый из птенцов был еще заключен в бледно-зеленом яйце. А еще за месяц до того их не было вовсе.

Что-то ударило Дика по щеке. Это мать возвратилась к птенцам. Он отодвинул голову, и она, не долго думая, принялась набивать им зобы.

XXX. Исчезновение Эмmeliны.

Прошло несколько месяцев. На хлебном дереве осталась одна только птица. Это был Коко. Подруга его и дети улетели. Листья за это время успели окраситься золотом и лянтарем, а теперь дерево снова одевалось молодой зеленью.

Однажды утром Дик собирал свои пожитки, готовясь пойти на рыбную ловлю. В голове у него имелась полная карта лагуны: он знал все рыбные места, знал где водится морская кропива и где можно пройти в брод во время отлива. Теперь он отправлялся мили за две с половиной поперек острова, и шел туда один, так как итти приходилось трудными местами.

Эмелина наизывала ожерелье на новую нитку. У этого ожерелья была целая история. Раз как-то в мелком месте наподолеку Дик наткнулся на большое количество раковин и взял с собой несколько из них, чтобы рассмотреть на досуге. Первая, которую он вскрыл, могла бы оказаться и последней,—так отвратителен был ее вид,—когда бы не то, что из-под моллюска виднелась жемчужина. Она была вдвое крупнее горошины и переливалась таким нежным блеском, что он не мог не залюбоваться ею, хотя и не подозревал о ее ценности.

Он побросал неоткрытые устрицы и принес жемчужину Эмелине. На следующий день, случайно проходя тем же местом, он увидал, что брошенные устрицы лежат неживыми, раскрывшись на солнце. Когда он принялся их разглядывать, то в одной из них оказалась вторая такая же жемчужина. Тогда он собрал их большое множество и выставил на солнце. Ему пришло в голову сделать жемчужное ожерелье для Эмелины, как у нее имелось уже ожерелье из ракушек.

Долго пришлось с ним возиться, но это было для него развлечением. Он протыкал жемчужины толстой иглой, и через четыре месяца ожерелье было готово. Это были все крупные жемчужины—иные чисто белые, другие черные или розовые; иные совершенно круглые, другие грушевидные или неправильные. Ожерелье стоило пятнадцать или двадцать тысяч фунтов стерлингов, так как он брал только самый крупный жемчуг, выбрасывая остальной.

В это утро Эмелина только что кончила переизывать ожерелье на двойную нитку. Когда он двинулся в путь с багром и рыболовными свистками, она долго махала ему рукой, сидя у порога хижины, с жемчугом на коленях, и провожала его глазами, пока он не затерялся среди деревьев.

Компаса у него не было, да он и не нуждался в нем. Он знал леса наизусть. Вот та заколдованная линия, за которой более не встретишь ни единого хлебного дерева. За ней начинается длинная полоса абрикосовых деревьев—большая площадь, яров в сто ширины,—потом идут просеки, заросшие высокими папоротниками. Далее начинались трудные места.

Растительность здесь как бы предалась разнузданной оргии. Длинные сочные стебли всевозможных неизвестных растений перегораживали дорогу, путались в ногах; кроме того, попадались тонкие места, в которых сильно вязли ноги. Если остановиться отереть лоб, то все смятые и раздвинутые плети и побеги мгновенно вновь вставали и смыкались, опутывая человека почти непродолажной чащей.

Все полудни, когда-либо падавшие на остров, казалось, оставили здесь частицу своего зноя. Воздух был удущив и влажен, как воздух прачечной, а унылое, непрерывное жужжанье насекомых наполняло молчанье, не уничтожая его.

Сто человек с косами могли бы проложить здесь дорогу, и по прошествии одного-двух месяцев она уже не существовала бы: растительность сомкнулась бы над ней, как смыкается рассеченная вода.

Здесь росла кувшинковая орхидея—подлинный кувшин с крышкой. Если приподнять крышку, видно было, что кувшин наполовину полон воды. Вообще орхидеи процветали здесь, как в теплице. Редкие деревья имели чахлый, призрачный вид, наполовину заглушенные пышным ростом гигантских трав.

Человеку с воображением становилось здесь жутко. Казалось, что вот-вот из заросли протянется рука и потянется к твоей руке. Даже Дик, и тот ощущал это, несмотря на свое бесстрашие и отсутствие воображения. Ему потребовалось три четверти часа, чтобы дойти до конца, когда его, наконец, озарили свет настоящего дня, и сквозь ветви мелькнула синева лагуны.

Он мог бы, разумеется, добраться сюда круглым путем, на шлюпке, но это было бы слишком долго. Когда он спустился к краю лагуны, было около одиннадцати часов, и наступил уже почти полный прилив.

Лагуна здесь имела форму корыта, и риф отстоял очень близко от берега. Берег не шел уступами, а спускался отвесно, и можно было удить с берега, как с мола. Дик положил под деревом принесенную с собой пищу, насадил приманку и закинул удочку, после чего прикрепил конец ее к растущему у воды дереву для большей надежности и, взяв лесу в руки, уселся удить.

Дик был прирожденным рыболовом,—другими словами, существом с колючим терпением и равнодушием устрицы ко времени. Его не столько привлекала рыба, сколько самый спорт.

Сидя у воды, он думал об Эмелине. Скорее, это были не мысли, а прохажившие в уме картины—радостные, счастливые, озаренные то солнцем, то луной, то звездами.

Прошло три часа, и можно было подумать, что в лагуне нет ничего, кроме воды и разочарования, но он не унывал. Не даром же он был прирожденным рыболовом. Он оставил удочку привязанной к дереву и принялся за еду. Едва успел он кончить, как деревцо начало гнуться и извиваться. Нечего было и думать вытащить из воды такую крупную добычу. Он дождался, чтобы леса ослабела, и деревцо приняло прежнюю задумчивую позу, и тогда вытащил из воды—пустой крючок! Он и на этот раз не стал ворчать, но вторично насадил приманку и закинул удочку, в надежде, что свирепое существо клюнет вторично.

Поглощенный этой мыслью, он совсем забыл, что обещал Эмелине возвратиться до захода солнца. А солнце уже спускалось за горизонт,—он и не замечал того. Вдруг, как раз за его спиной, из-за деревьев послышался ее голос, звавший:

— Дик!

Он вздрогнул, уронил удочку, посмотрел вокруг. Никого не было видно. Тогда он стал бегать между деревьями, зовя ее. Отвечало одно только эхо. Он убедился в том, что над ним подшутило воображение. Тем не менее, пора была возвратиться во-своих. Он собрал свои пожитки и отправился.

Он достиг как раз половины трудного места, когда его обуял внезапный страх. Что, если над ней стряслась беда? Здесь уже наступили сумерки, и никогда еще травы и плети не казались столь похожими на силки. Потом он сбился с пути—забота оказалась сильнее инстинкта охотника—и блуждал некоторое время, как судно без компаса. Наконец, он выбился в тот лес, куда следовало, но гораздо правее. Чувствуя себя вырвавшимся из капкана зверем, он поспешил вперед, руководимый голосом прибора.

До сих пор, когда бы он ни возвращался домой, первое, что попадалось ему на глаза, была всегда фигура Эммеины. Сегодня ее не было видно. Поискав поблизости, он остановился, растерянный, неспособный думать и действовать.

После происшествия на рифе у Эммеины иногда случались сильные головные боли, и когда ей становилось невмоготу, она иной раз уходила в чащу. Дик вспомнил об этом и отправился вдоль опушки, зовя ее и оставившая послушать. Но ответа не было.

Он дошел до самого водопада, но на крики его отвечало одно только эхо. Тогда он медленно возвратился домой. Уже на небе загорались звезды. Он сел у порога в позе полного изнеможения, с понуренной головой и беспомощно опущенными руками. Ему все еще звучал ее голос, каким он слышал его по ту сторону острова. Она была в опасности и звала его, а он спокойно удил рыбу, ничего не сознавая.

Мысль эта привела его в исступление. Он поднял голову, озираясь и в отчаянии ударяя руками по земле. Потом вскочил и бросился к пляжке. Он переправился на риф: поступок сумасшедшего, так как быть там она не могла.

Луны не было; свет звезд одновременно освещал и скрывал мир, и не было иного звука, кроме величавого грома прибора. В то время, как он стоял там и ночной ветер дул ему в лицо, а у ног его кипела белая пена, и в великом безмолвии наверху горели звезды, в его первобытный ум с болью вонзилось сознание, что он стоит среди глубокого и ужасающего равнодушия.

Он возвратился домой: все было пусто. На траве у порога лежала миска, которую он незадолго видел в ее руках. Он взял ее и крепко прижал к груди, потом бросился ничком на землю, опустив голову на руки в позе спящего.

Должно быть, сам того не сознавая, он ночью опять скитался по лесам, ибо на заре очутился в долине идола. А потом настало утро, и мир исполнился света и красок. Он сидел у порога, измученный и усталый, и вдруг, подняв голову, увидел Эммеину, выступавшую из-за деревьев по ту сторону лужайки.

XXXI. Новый пришелец.

С минуту он не мог двинуться, потом вскочил и бросился к ней навстречу. Она была немного бледна и держала что-то на руках, завернутое в свой шарф из полосатой фланели. Когда он прижал ее к себе, нечто, скрытое в свертке, зашевелилось и издало писк, похожий на кошачье мяуканье.

Он отшатнулся, а Эмелина, нежно развернув шарф, обнаружила крошечное личико. На нем блестели два глазка, а надо лбом торчал пучок темных волос. Вдруг глаза замурились, личико съежилось, и существо дважды чихнуло.

— Где ты его достала?—спросил он в полном недоумении.

— Нашла в лесу,—отвечала Эмелина.

Немой от изумления, Дик подвел ее к дому, где она села, прислонившись головой к стене.

— Мне нездоровилось,—продолжала она,—и я пошла посидеть в лесу, потом ничего не помню больше. Когда проснулась, он был тут как тут.

— Это ребенок!—сказал Дик.

— Я знаю,—отвечала Эмелина.

Эмелина сидела, тихо баюкая его и, видимо, совершенно поглощенный его созерцанием, как, впрочем, и сам Дик. Вдоволь надивившись, Дик, наконец, спохватился и принялся готовить завтрак. Он также давно не ел и был почти так же изнурен, как и Эмелина. Он напек плодов хлебного дерева; с предыдущего дня оставалась холодная рыба. Добавив сюда несколько бананов, он подал завтрак на двух широких листьях и заставил Эмелину поесть первой.

Они еще не кончили, когда существо в свертке, словно почуввав еду, начало тревожиться и пищать. Эмелина откинула шарф. Младенец казался голодным; он то широко разевал рот, то поджимал его, поочередно открывая и закрывая глаза. Эмелина притронулась пальцем к его губам: он схватил конец пальца в рот и принялся сосать его. Глаза ее наполнились слезами. Она с мольбой взглянула на Дика. Он очистил банан, отломил кусочек и подал ей. Она поднесла его ко рту ребенка. Тот торопливо пощипался состью, пустил пузыри и залился плачем.

— погоди минуту,—сказал Дик.

Поблизости лежали собранные накануне кокосовые орехи. Он взял один из них, снял зеленую кору и вскрыл один из глазков, сделав там же надрез с противоположной стороны скорлупы. Несчастное дитя жадно потянуло сок, после чего у него сделалась рвота, и он снова жалобно заплакал. Эмелина в отчаянии прижала его к обнаженной груди, и мгновение спустя, он уже повис на ней, как пьявка. Как видно, он больше знал толку в том, что ему нужно.

XXXII. Г а н н а.

В полдень под рифом вода бывала совсем теплой. Они приносили туда ребенка, и Эмелина обмывала его кусочком фланели. Через несколько дней он перестал кричать при умываньи. Он лежал у нее на коленях, молотцево размахивая руками и ногами и уставившись на небо. Когда же она поворачивала его ничком, он свешивал голову, причмокивал и пускал пузыри, повидимому, рассматривая с философским вниманием строение коралла.

Дик сидел рядом на корточках и смотрел. Оба еще не успели освоиться с таинственным событием. Неделю назад они были вдвоем, и вдруг из ничего возникло это новое существо.

Оно было так закончено, так совершенно. У него были волосы на голове, крохотные ноготки, цепляющиеся руки. У него была тьма своих собственных замашек, умножавшихся с каждым днем.

По прошествии недели, его личико, казавшееся выдолбленной из кирпича обезьяньей мордочкой, обратилось в личико здорового, нормального ребенка. Глазки следили за предметами и случалось иногда, что он смеялся и захлебывался, точно услышал удачную шутку. Темные волосы выпали и сменились подобием пуха. Зубов у него не было. Он любил лежать на спине и дрыгать ножками, и ворковать, и сжимать кулачки, и стараться поочередно проглотить то один, то другой, и скрестить ножки, и играть пальчиками на них. Одним словом, он был как две капли воды похож на тех тысячу и одного ребенка, которые рождаются на белом свете с каждым ударом маятника.

— Как мы назовем его?—спросил однажды Дик, глядя на барахтающегося в траве малютку.

— Ганна,—живо сказала Эмелина.

Ей помнился один ребенок, виденный ею в детстве,—нужды нет, что этот ребенок по имени Ганна, была девочкой.

Коко очень интересовался новым членом семьи. Он поскикивал вокруг и разглядывал его, свернув голову на бок, а Ганна ползал за ним и старался ухватить его за хвост. По прошествии нескольких месяцев, он настолько окреп, что преследовал собственного отца, ползал на четвереньках в траве, и иной раз можно было видеть, как все трое барахтались на земле, как трое детей, в то время как птица носилась над ними, как добрый дух, или принимала участие в потехе.

Но время от времени Эмелина впадала в мрачное раздумье и сидела над ребенком, нахмурившись и устремив взор вдаль. В ней проснулся прежний смутный страх несчастья—страх невидимого призрака, которого ее воображение представляло себе за улыбкой на лице природы. Счастье ее было так велико, что она боялась утратить его.

Нет на свете большого чуда, чем рождение человека, и здесь, на острове, в самом сердце моря, старое, как вечность, чудо казалось странным и новым—столь же прекрасным, как казалась ужасной тайна смерти. В смутных мыслях, не находивших выражения в словах, они связывали новое событие с тем старым событием на рифе шесть лет назад. Исчезновение и возникновение человека.

Несмотря на свое «девочкино» имя, Ганна был очень мужественным и привлекательным ребенком. Пушок на голове, бывший вначале цвета спелой пшеницы, вскоре приобрел золотистый отлив. В один прекрасный день,—последнее время он все тревожился и покусывал свой «большой» палец,—Эмелина нашла у него на десне нечто, похожее на зернышко риса. Это был поворожденный зуб. Теперь он мог есть бананы и плоды хлебного дерева, и нередко они угощали его рыбой, что привело бы в содрогание всякого доктора; но это несколько не мешало ему процветать и полнеть с каждым днем.

С глубокой прирожденной мудростью Эмелина держала его совсем голышом, одевая в один только кислород и солнечный свет. Она брала его

на риф и предоставляла ему шлепать по мелким лужам, поддерживая под мышки, в то время как он поднимал ножками алмазные брызги и заливался хохотом и визгом.

Они начинали переживать явление, не менее чудесное, чем рождение тела ребенка,—рождение его духа: пробуждение маленькой личности, с ее собственными склонностями, симпатиями и антипатиями.

Уже он научился отличать Дика от Эмелины, и нередко, покушав, тянулся с ее колен к нему. С Коко он обращался, как с другом, но когда один товарищ Коко—субъект с тремя красными перьями в хвосте и любопытным характером—явился однажды познакомиться с ним, он встретил его негодующим воплем.

У него была страсть к цветам и вообще всему яркому. Он смеялся и визжал, когда его катали по лагуне и делали вид, что бросают его к яркому кораллу внизу.

Раз как-то они катались по лагуне. Дик только что перестал грести и пустил шлюпку по воле. Ребенок приплясывал на руках у Эмелины. Внезапно он протянул ручонки гребцу и проговорил:

— Дик!

Это маленькое словечко, такое легкое и столько раз слышанное, было первым его словом на земле.

Дик взял малютку на руки, и с этой минуты полюбил его больше всего на свете, больше даже, нежели Эмелину.

XXXIII. Лагуна в огне.

С самого дня трагического события на рифе, шесть лет назад, в душе Эмелины Лестрандж назревало что-то, что можно назвать, если хотите, недоверием. Она никогда не была очень умна, но ум ее был из тех, которые доходят до великих истин инстинктивно, как бы наитием.

Великие истины могут жить в душе человека, неизвестно для него самого. Он действует или думает так или иначе по наитию; другими словами, действия его и мысли являются плодом самого глубокого рассуждения.

Когда мы научились называть бурю бурей, смерть смертью и рождение рождением, когда мы изучили букварь и анатомию и законы циклонов, мы уже наполовину ослепили себя. Мы загнипотизировали себя словами и именами. Мы научились думать словами и именами, вместо идей.

Бури на острове бывали и раньше, и вот что Эмелина помнила о них.

Стоит ясное, радостное утро; солнце ярко, и воздух ароматен, и лагуна безмятежна, как никогда, и вдруг, с ужасающей внезапностью, как бы наскучив притворяться, что-то омрачит солнце, с воплем протянет руку и, опустошив остров, собьет лагуну в пену, разметет деревья и умертвит птиц. И одна птица возьмется, а другая останется, одно дерево низвергнется, другое будет стоять попрежнему. Самая ярость бедствия была менее страшна, нежели слепота и равнодушие его.

Однажды вечером, когда только что зажглась последняя звезда и ребенок уже спал, Дик вернулся с берега и позвал Эмелину.

— Иди посмотри, — сказал он.

Еще издали Эмелина заметила, что с лагуной творится что-то необычное. Она казалась бледной и плотной, наподобие серого мрамора, испещренного черными жилками. Но, подойдя ближе, становилось ясно, что тусклый серый вид не более как обман зрения.

Лагуна горела, как в огне. Фосфорический свет проник в самые ее недра. Каждая ветка коралла преобразилась в факел, каждая рыба — в подвижной фонарь. Сверкающая поверхность трепетала от прилива, и крошечные волночки лизали берег, оставляя за собой как бы рои светляков.

— Смотри! — сказал Дик.

Он стал на колени и погрузил руку в воду. Вся погруженная часть светилась, как факел. Потом он вынул руку из воды: она казалась покрытой огненной перчаткой.

Эмелина также опустила на колени и сделала себе фосфорические перчатки, и смеялась от восхищения. В этом было все удовольствие игры с огнем, только без страха обжечься. Потом Дик обтер лицо водой и сделал себе огненную маску.

— Погоди! — вдруг крикнул он и, побежав к дому, принес с собой Ганна.

Он передал ребенка Эмелине и отвязал шлюпку.

Окунаясь в воду, весла превращались в серебряные полосы; под ними проходили рыбы с светящимся хвостом, как у кометы; каждая шишка коралла была лампой, превращавшей лагуны в бальную залу. Даже Ганна на коленях у Эмелины, и тот кричал и ворковал от восторга.

Они вышли на риф и проишли по ровной площадке. Море было бело и блестяще, как снег, а пена прибоя казалась огненной изгородью.

В то время, как они любовались необычайным зрелищем, фосфорический блеск внезапно дрогнул и погас, как если бы потушили электричество.

Вставала луна. Когда ее лик выплыл из-за линии воды в небольшом облачке, он показался им красным, свирепым и омраченным налетом дыма.

XXXIV. Циклон.

Когда они проснулись поутру, было пасмурно. Небо было покрыто сплошной свинцовой тучей. Воздух был неподвижен, и птицы дико металась по сторонам, как если бы их вспугнул незримый враг.

Пока Дик разводил костер для завтрака, Эмелина ходила взад и вперед, прижав ребенка к груди. На душе у нее было беспокойно.

С течением времени темнота усиливалась. Поднялся ветерок, и листья хлебных деревьев застучали друг о друга, как дождевые капли по стеклу. Надвигалась буря, но в наступлении ее было что-то непохожее на виданные ими раньше бури.

По мере того как ветер усиливался, воздух наполнялся звуком, надвигающимся из-за далекого горизонта. Он походил на голос огромной толпы, но был так смутен, что порывы ветра совершенно заглушали его. Вдруг он прекратился, и ничего более не стало слышно, кроме скрипа и шелеста

ветвей под усиливающимся ветром, который теперь дуд непрерывно и свирепо прямо с запада, взрывая лагуну и перебрасывая тучи пены через риф. Небо, до сих пор свинцовое и неподвижное, как непоколебимая крыша, теперь волновалось и спешило на восток, подобно бурной реке.

Снова стал слышен отдаленный шум,—гром повелителей бури,—но такой смутный, неопределенный и неземной, что он казался звуком во сне.

Эмелина сидела с малюткой на полу, притихшая и безмолвная. Дик стоял у порога. Он был озабочен, хотя и не показывал вида.



Весь прекрасный остров окрасился теперь в цвет свинца и пепла. Красота рассеялась бесследно, осталась одна лишь печаль и тревога.

Ветер не дуд более непрерывной струей, а налетал бешеными порывами, придавая пальмам самые разнообразные позы отчаяния, а кто видел кокосовые пальмы в бурю, тот знает, как они выразительны под бичом вихря.

К счастью, дом был защищен от бури всей глубиной роши; к счастью также, он прикрывался сверху густой листвой хлебных деревьев; ибо внезапно, с таким ударом грома, как если бы Тор швырнул свой топор на землю, тучи рассеялись, и сверху, большой косой волной, ринулся ливень. Он с ревом обрушился на листву, сплотив ее в одну отлогую крышу, с которой вода хлынула непрерывным водопадом.

Дик вскочил в дом и сел рядом с Эммелиной, которая вся дрожала и прижимала к себе разбуженного громом ребенка.

Они просидели около часа, в то время как дождь то затихал, то усиливался, гром потрясал небо и землю, а над головой проносился ветер с пронзительным, однообразным криком.

И вдруг ветер смал, дождь прекратился, и за порогом упал бледный призрачный свет, подобный свету зари.

— Конечно!—сказал Дик, порываясь встать.

— О, послушай!—сказала Эммелина, прижимаясь к нему и прижимая к нему ребенка, как будто одно прикосновение его было для малютки защитой. Она угадала, что готовится нечто похуже грозы.

Они молча прислушались. Издали, с того конца острова, шел шум, похожий на гудение большого волчка.

Это надвигался центр циклона.

Циклон не что иное, как кругообразная буря,—буря в форме кольца. Это кольцо вихря подвигается поперек океана с невыразимой быстротой и яростью, а между тем в центре его царит безмятежная тишина.

В то время, как они слушали, звук усиливался, обострялся и превратился, наконец, в пронизывающий уши звон: он сотрясаясь от собственной скорости, неся с собой треск деревьев, и разразился под конец воплем, ударившим по мозгу, как дубина. В одно мгновение дом смело прочь, и они лежали, вцепившись в корни хлебного дерева, ослепленные, оглушенные, еле живые.

Ужас и потрясение превратили их в испуганных животных, с единственным инстинктивным чувством самосохранения.

Как долго продолжался ад, они не знали, но вдруг, как буйный сумасшедший внезапно прекращает беснование и замирает без движения, ветер стих и воцарился мир. Над островом проходил центр циклона.

Вверху виднелось необычайное зрелище. Воздух был полон птиц, бабочек, насекомых,—все они висели в центре бури и путешествовали с нею вместе и под ее покровительством.

Хотя воздух был тих, как в летний полдень, однако, отовсюду: с севера, юга-востока и запада слышался вой вихря.

В этом было нечто потрясающее.

В буре человека так треплет ветер, что ему некогда думать. Но в мертвом центре циклона находишься в безусловной тишине; можно на досуге рассмотреть бедствие, как тигра в клетке, ужасаясь со стороны его свирепости.

Эммелина приподнялась, задыхаясь. Ребенок был невредим, вначале он заплакал от страха, но теперь казался безучастным, даже ошеломленным. Дик выступил из-под дерева и осмотрелся.

Циклон подобрал на пути морских и земных птиц: белых чаек, черных альбатросов, бабочек, и все они казались замкнутыми в передвижном стеклянном куполе. Когда они прошли мимо, как безвольные, погруженные в сон существа, юго-восточная четверть круга циклона с ревом налетела на остров, и весь ужас начался сызнова.

Он продолжался долгие часы. Наконец, к полночи ветер стих, а утром солнце встало на безоблачном небе. Оно осветило выкорчеванные деревья

и трупы птиц, три жердочки на месте того, что когда-то было домом, бледно-сизифовую лагуну и всенепенное море цвета зеленого стекла, с громом палатавшее на риф.

XXXV. Опустошенные леса.

Сгоряча им показалось, что все их имущество погибло, но потом Дик прежде всего разыскал под деревом старую пилу, а неподалеку от нее кухонный нож, как если бы они стоворились вместе бежать и потеряли неудачу.

Мало-по-малу им стало подворачиваться и еще кое-что из имущества. Остаток фланели был подхвачен циклоном и обмотан вокруг ствола тоненькой пальмы в виде бинта, коробка с крючками оказалась втиснутой в печеный плод хлебного дерева, стаксель *Шенандоа*—выброшенным на риф с куском коралла сверху, как бы для того, чтобы его не унесло прочь. Что касается люгерного паруса со шляпки, то только его и видели!

У циклона немалая доля юмора, если только уметь оценить его. Кроме главного круговорота вихря, имеются еще второстепенные течения, и каждое из них точно одушевлено отдельным лукавым духом.

Несколько раз эти коварные порывы ветра чуть не выхватили Ганна из рук Эмелины, и глубоко на дне души у нее затаилось убеждение, что вся буря только для того и затеяна, чтобы унести его в море.

Шляпка уцелела благодаря тому, что первый же порыв вихря опрокинул ее и затопил в мелком месте. Но жалостно было смотреть на опустошение среди деревьев. Великолентные кокосовые пальмы лежали сломанные и раздавленные, как бы растоптанные гигантской ногой. Там и сам попадалось по нескольку лизан, сбитых в один толстый канат. В кокосовой роще нельзя было ступить, не наткнувшись на орех. Их тут валялось множество всяких размеров: большие, средние и совсем маленькие, ростом с небольшое яблоко, ибо на одном и том же дереве бывают орехи разных величин.

Никогда нельзя видеть вполне прямой кокосовой пальмы, они всегда более или менее наклонены,—вот почему их так много гибнет во время циклона.

Хлебные деревья, когда-то такие красивые, также валялись разбитые и загубленные, и поперек пояса абрикосовых деревьев, поперек густых мест, легла широкая дорога, как если бы от края до края лагуны прошла целая армия с конницей, пехотой и артиллерией. От смятых лесов, как возносимый к небу фимам, поднимался аромат разметанных цветов, мокрых от дождя листьев, истекающих соком, оборванных лизан, запах недавно сломанных деревьев—эссенция и сущность хлебного дерева, индейской смоковницы и пальмы.

На большой дороге, проложенной бурей, валялись крылья бабочек, перы, обшипанные по краям листья, веточки, изломанные на крошечные кусочки.

Довольно сильный, чтобы распороть корабль, выкорчевать дерево, разорить город; довольно нежный, чтобы оборвать бабочкам крылья,—вот каков циклон.

Бродя по лесам с Диком, видя трупы больших деревьев и мелких птичек и вспоминая о тех птицах, которых вихрь на ее глазах унес в море, чтобы там утопить, Эмелина чувствовала, что у нее гора свалилась с плеч. Беда прошла и пощадила их с ребенком. Ей чувствовалось, что то, что мы называем роком, временно пресытилось. Вечный ее страх, хотя и не исчез совсем, но отошел вдаль, оставляя ее горизонт ясным и спокойным.

И точно, циклон милостиво обошелся с ними. Правда, он взял дом, но оставил им зато почти все мелкие пожитки. Утрата огня и кремня была бы гораздо чувствительнее, чем гибель дома, так как без них им бы не развести огня.

XXXVI. Поверженный идол.

На другой же день Дик принялся за восстановление дома. Эмелина помогала ему срезать бамбуковые тросты и перетаскивать их на лужайку, а Ганна, сидя в траве, играл с Коко, который исчез во время бури, но теперь возвратился обратно.

Дружба ребенка с птицей росла с каждым днем. Коко позволял ему тискать и обнимать себя, и нет более очаровательного чувства для человека, чем дерзнуть совсем ручную птицу в руках: невольно хочется прижать ее к сердцу, если только оно у тебя есть. Так и Ганна приказал Коко к своему загорелому животу, как бы в бесхитростном признании, что и у него там заперто сердечко...

Ганна был на редкость бойким ребенком. Говорил он мало, а одолев слово «Дик», временно на этом успокоился. Но ему не нужно было слов: он говорил и блестящими лукавыми глазками, и ручонками, и ножонками, и всеми своими телодвижениями. Восхищаясь чем-нибудь, он как-то особенно махал руками, выражая все оттенки восторга. Когда же сердился, — что случалось редко, — то гневался не на шутку.

Теперь он как раз переступал границу игрушечного царства. В мире цивилизации у него был бы резиновый мячик, кудрявый барашек. Здесь он играл цветными и ракушками или обломками коралла; а, в конце-концов, что может быть интереснее, чем стучать друг о дружку устричными раковинами и производить очаровательный шум?

Однажды, когда новый дом уже начинал принимать кое-какую форму, они бросили работу и отправились в лес, поочередно неся ребенка на руках. Они шли в долину «Каменного Человека».

Давно уже таинственный истукан перестал быть предметом ужаса для Эмелины: ведь под сенью его к ней пришла любовь...

Вступив в долину, они увидели, что идол лежит на земле. Произошел оползень почвы; как видно, он готовился годами, и толчком к нему послужил проливной ливень циклона.

На многих из тихоокеанских островов можно видеть подобных поверженных идолов и развалины храмов и террас, с виду непоколебимых, как горы, а между тем тихо и незаметно превращающихся в бесформенные груды камня.

XXXVII. Экспедиция.

На следующее утро первый луч зари разбудил Эммелину в палатке, сооруженной Диком из стакселя в ожидании дома. Здесь и на том конце острова зари занималась совсем по иному, так как между рассветом на море и рассветом в лесу целый мир разницы.

По ту сторону острова восток почти не менял цвета до той минуты, когда горизонт загорался, вспыхивал беспредельный голубой свод, и солнечный свет затоплял лагуну, подгоняя водную рябь огненными стрелами.

Здесь было не то. Небо было темно и полно звезд, а леса представлялись пятнами бархатистой тени. Потом в ветках проносился вздох, поднимал трепет в листьях. Минуту спустя, как если бы проснувшийся ветерок смел их долой, звезд уже как не бывало, и небо превращалось в пелену бледнейшей лазури.

Было нечто невыразимо таинственное в этом приближении зари. Предметы казались смутными и неясными, как в европейские сумерки.

Вскоре после Эммелины проснулся и Дик. Они спустились к берегу, и Дик бросился в воду поплавать, в то время как она стояла на берегу с Ганна.

После каждой бури погода на острове становилась особенно бодрящей и приятной, сегодня же в воздухе веял подлинный дух весны. Эммелина это чувствовала. Она смеялась, глядя на пловца, и высоко поднимала ребенка, чтобы тот полюбовался им. Ею овладел беспричинный восторг.

Ароматный ветерок разметывал ее черные кудри по плечам, а из-за перистых макушек пальм струился ясный свет утра, затопляя в своих лучах ее и ребенка. Казалось, что природа ласкает их.

После купанья Дик принялся за осмотр шлюпки, так как решил отложить на один день постройку и наведаться на старое место, чтобы проверить, уцелели ли бананы. Он заботился о них, как старая хозяйка, и не мог быть покойным, не удостоверившись в их сохранности.

После осмотра шлюпки они возвратились завтракать. Жизнь приучила их к запаसливости. Так, например, съедая орехи, они всегда сберегали скорлупу для растопки. Накануне Дик выставил целую грудку мокрого хвороста на солнце, благодаря чему было чем развести огонь.

После завтрака он взял нож и дротик и спустился к берегу. Эммелина с ребенком шла следом за ним. Он соскочил в лодку и уже готовился отчалить, когда Эммелина остановила его.

— Дик!

— Что такое?

— Я поеду с тобой.

— Ты?—повторил он в изумлении.

— Да. Я... я больше не боюсь теперь.

И это была правда. С тех пор, как родился ребенок, страх, который внушала ей та часть острова, почти совсем рассеялся.

Смерть—великий мрак, рождение—великий свет: они слились в ее воображении в одно. Мрак не исчез, но проникся светом, и получились сумерки, печальные, но уже более не населенные образами ужаса.

Несколько лет тому назад она увидела, как затворилась таинственная дверь, навеки отделив от мира человеческое существо. Вид этот вселил в нее невыразимый ужас, ибо у нее не было слов для толкования или смягчения события, не было ни религии ни философии. Но вот недавно распахнулась не менее таинственная дверь, и человеческое существо вошло в нее, и где-то в глубине ее души, там, где хранились мечты и грезы, второе великое событие разъяснило и оправдало первое. Бездна поглотила жизнь, но бездна и дала ее обратно. И бездна не была более страшна, ибо за нею скрывалась жизнь.

Эмелина уселась с ребенком на корме, и Дик отчалил. Едва успел он взяться за весла, как появился новый пассажир. Это был Коко. Он нередко сопровождал их на риф, хотя странным образом: никогда не летал туда один. Так и теперь, он спустился на шкафут и, нахохлившись, спустил длинный сизый хвост к воде.

Гребец держался близко к берегу, и когда они огибали мыс, пылавший цветами дикого кокоса, кусты задела лодку, и ребенок протянул ручонки к ярким цветам. Эмелина обломил ветку, — но ей подвернулся не дикий кокос, а куст с «беспросынными» ягодами. Теми ягодами, поев которых, человек засыпает, и видит сны, и никогда не просыпается более.

— Брось их! — крикнул Дик, помнивший заветы Пади.

— Погоди минутку, сейчас выброшу, — сказала она.

Она махала веткой перед ребенком, который заливался смехом и сидел схватив ягоды. Потом уронила их на дно лодки и позабыла о них, потому что в эту минуту что-то сильно толкнулось о киль: это сразились под водой две большие рыбы, и Эмелина в страхе стала просить Дика грести скорее.

Шлюпка скользила мимо красивых берегов, которых она так и не видала до сих пор, так как крепко спала во время первого их путешествия.

В то время, как она разглядывала незнакомые рощи и лужайки, перед нею вдруг встала картина начатого дома под хлебным деревом и словно звала ее вернуться.

Как ни было ничтожно их пепелище, но то было «дома», и так она не привыкла к переменам, что сердце ее сжалось чувством тоски. Впрочем, неприятное ощущение тут же рассеялось, и она с любопытством принялась разглядывать окружающие предметы и указывать на них ребенку.

Достигнув места, где Дик в тот раз едва не заполучил альбинора, он приостановился грести и стал ей рассказывать о подробностях борьбы. Она слушала, и когда дело дошло до встречи с акулой, дрожь пробежала по ней.

— О, когда бы у меня был достаточно крепкий крючок, чтобы поймать ее! — проговорил он, уставившись в воду, стараясь разыскать своего врага.

— Не думай о ней, Дик, — сказала Эмелина, крепче прижимая малютку к сердцу. — Грести дальше.

Он взялся за весла, но по лицу его было видно, что он мысленно переживает прошедшее.

Когда они обогнули последний поворот, и перед ними открылся риф с проливчиком, Эмелина перевела дыхание. Все осталось попрежнему, а между тем все странным образом изменилось, — лагуна казалась уже, риф

ближе, кокосовые пальмы менее высокими. Она сравнивала действительность со своим детским представлением о ней. Черное пятнышко на рифе исчезло: циклон окончательно уничтожил его.

Дик вытащил лодку на песок и отправился за бананами. Эмелина пошла бы помогать ему в сборе, если бы не то, что ребенок уснул.

Ганна во сне был еще милее, чем Ганна наяву. Сон вечно подстерегал его и настигал в самые неожиданные минуты. Передко Эмелина заставляла его сияющим с пестрой раковинной или куском коралла в ручонке и блаженным выражением лица, точно он продолжал ту же веселую игру на волшебных берегах сонного царства.

Дик сорвал для нее огромный лист хлебного дерева в защиту от солнца. Держка его над головой, она устремила взгляд над белыми, залитыми светом песками и замечталась.

Когда задумаешься, мысли не следуют прямым путем. В памяти Эмелины одна за другой вставали картины, вызванные лежавшим перед ней видом. Зеленая вода под кормой корабля и смутно отраженное в ней слово *Шенандоа*, высадка на остров и чайный сервиз на белом песке—она ясно видела «анютины глазки» на тарелочках и мысленно пересчитывала оловянные ложечки; большие звезды, горевшие над рифом по ночам; боченок у родника, в том месте, где цвели вьюнки, и вид с холма на гнущиеся от ветра макушки,—все это всплывало в памяти и рассеивалось, вытесняя одно другое.

Была печаль в этом созерцании, но была и радость. Она чувствовала себя примиренной с жизнью. Казалось, что все горе осталось позади, как если бы великая буря была вестницей, посланной с небес, чтобы заверить ее в их милосердии, покровительстве и любви.

Внезапно она заметила, что между носом шлюпки и песком лежит широкая полоса сверкающей синей воды.

Шлюпку относило от берега.

XXXVIII. Хранитель лагуны.

Хотя эта часть леса и менее пострадала от циклона, тем не менее и здесь было достаточно разрушения, и Дик у приходилось перелезая через упавшие деревья и продираться сквозь завесу лиан, некогда висевших.

По особенной милости Провидения банановые деревья оказались нетронутыми, и даже плоды почти все уцелели. Дик срезал две большие кисти и, закинув их за плечо, пустился к берегу.

Он шел, нагнувшись под тяжелой ношей, и достиг уже половины песков, когда услышал отдаленный зов. Он поднял голову и увидел лодку посреди лагуны. Эмелина стояла на носу, махая рукой. На полпути между шлюпкой и берегом виднелось весло, которое она, очевидно, упустила, в попытке вернуться к берегу. Ему припомнилось, что начинается отлив.

Дик сбросил свою ношу и минуту спустя был уже в воде.

Когда Эмелина увидела, что случилось, она сделала попытку грести и в второпях выронила одно из весел. С одним веслом она становилась совер-

ленно беспомощной, так как не умела юлить веслом на корме. Сперва она не испугалась, зная что Дик скоро придет к ней на помощь, но при виде увеличивающегося расстояния между лодкой и берегом, холодная рука легла на ее сердце.

Теперь уже берег казался очень далеким, и страшно было смотреть в сторону рифа, так как проливчик в нем явственно расширялся, и казалось, что открытое море затягивает ее.

Она увидела Дика выходящим из леса с грузом бананов и позвала его. Он бросил пошу и опрометью пустился к воде. Когда он поплыл и она увидела, что он схватил весло, сердце в ней дрогнуло от радости.

Держа весло одной рукой и пlying другой, он быстро приближался к плывущей.

Их разделяло всего-навсего каких-нибудь десять футов, когда Эмелина увидела, что следом за ним, быстро рассекая водную рябь, подвигается темный трехугольник, как будто сделанный из парусины.

Сорок лет тому назад зародыш этой акулы был выброшен в море в виде и размера жалкой еловой шишки,—готовая добыча для всякого, кому она могла подвернуться. Он избегал челюстей морской собаки и многих иных хищников: жизнь его была сплошным рядом чудесных спасений от смерти. Из миллиона таких же зародышей, появившихся в тот же год, уцелел лишь он, да еще несколько остальных.

Тридцать лет акула хранила лагуну для себя, как свирепый тигр джунгли.

Она знала пальму на рифе, когда та только лишь зарождалась от семени, и знала риф до рождения пальмы.

То, что она пожрала за это время живых существ, составило бы целую гору, а между тем она была так же чужда вражды, как меч, и столь же жестока и бездушна. Она была духом лагуны.

С внезапным криком Эмелина указала гребцу на хищницу. Он оглянулся, бросил весло и поспешил к лодке. Между тем Эмелина схватила оставшееся весло, нацелилась и метнула его лопастью вперед в акулу, теперь уже явственно видимую и близкую к плывцу.

Она никогда не могла научиться прямо бросить камень, а между тем весло прямо, как стрела, достигло цели, на миг ошеломив хищницу.

Этого оказалось достаточно. Минуту спустя Дик уже перекинул ногу за шкэфут и был спасен. Зато весло пропало.

XXXIX. Рука океана.

В лодке не осталось ничего, что можно было бы использовать для гребли; весло же отстояло от них всего лишь за несколько ярдов, но поплыть к нему означало верную смерть, а между тем их уносило прямо к морю. Дик рискнул бы, несмотря на все, броситься в воду, если бы не то, что явственно видел за кормой очертания акулы, плывшей за плывцом с одинаковой с ней скоростью.

Казалось, что Коко понял их тревогу. Он подлетел на воздух, описал над ними круг, потом снова спустился на корму и сел, весь нахохлившись.

Дик стоял в отчаянии, ухватившись руками за голову.

Берег отдалялся от него, голос прибоя усиливался, и он ничего не мог сделать. Мощная рука океана отнимала у них остров.

Потом внезапно маленькая лодочка вступила в бешеную скачку двух течений, стремившихся из правого и левого рукавов лагуны; голос прибоя вдруг раздался, как если бы настель распахнули дверь.

По сторонам рушились валы и кричали чайки, и на миг океан как бы поколебался, взять ли их с собой, или разбить о коралловые утесы.

Нерешимость эта длилась всего мгновение: сила отлива победила силу прибоя, и подхваченная течением лодочка мирно выплыла в море.

Дик бросился рядом с Эмmeliной, которая сидела на две шлюпки, прижав ребенка к груди. При виде отдалявшейся земли мудрая в своем инстинкте птица поднялась на воздух. Трижды она описала круг над уплывающей лодкой, затем, как прекрасный, но неверный дух, направилась к берегу.

XL. Вместе.

Остров медленно утонал на закате; это был уже не более, как след, как пятно на юго-западном горизонте.

Дело было перед новым месяцем, и маленькая лодочка уплыла из светлого заката в мир смутных лиловых сумерек и продолжала теперь плыть под светом звезд.

Эмmeliна, прижав ребенка к груди, прислонилась к своему спутнику; оба молчали. Все чудеса их краткой жизни завершились этим заключительным чудом—этим совместным уходом из мира Времени, этим странным путешествием—куда?

Теперь, когда первый испуг миновал, они не испытывали ни огорчения ни страха. Они были вместе. Будь что будет, ничто не может их разлучить; даже если они уснут, чтобы не проснуться более, они уснут вместе. Другое дело, если бы один был взят, а другой оставлен.

Как будто эта мысль посетила их в одну и ту же минуту, они повернулись друг к другу, и губы их и души слились в единой мечте, в то время как на безветренном небосводе бездна перекликалась с бездной вспышками звездного света, горевшего и пылавшего, как острый меч Азраила.

В руке у Эмmeliны был стиснут последний и наиболее таинственный из всех даров принявшего их таинственного мира,—ветка с красными ягодами.

XLII. «Сумасшедший Лестрэндж».

На тихоокеанском побережье он был известен под названием «Сумасшедшего Лестрэнджа». Однако он не был помешан, он только был человек, поработанный единой идеей. Его преследовало видение: видение двух детей и старого матроса, пущенных по воле великого синего моря в маленькой лодочке.

Когда шедший в Папенти *Араго* нажмулся на баркасы *Нортумберланда*, он застал живых людей только лишь на первом из них. Капитан Лефарж был безвозвратно помешан; состояние Лестрэнджа казалось безнадежным; матросы пострадали меньше, и несколько дней спустя уже бродили на солнышке по палубе. Через четыре дня *Араго* встретил *Нью-Кэстль*, шедшего в Сан-Франциско, и передал ему спасенных.

Всякий врач, который увидал бы Лестрэнджа во время штиля перед пожаром, сказал бы, что спасти его может одно лишь чудо. Чудо это совершилось.

В главной больнице Сан-Франциско туман, окутывавший его ум, рассеялся и перед ним открылась картина исчезновения детей. Хотя эта картина и до тех пор неотступно стояла перед ним, но он тогда не понимал ее смысла. Пережитый в баркасе ужас и чисто физическое истощение слили все обстоятельства великого бедствия в одно общее, печальное, но мало понятное впечатление. Когда же мозг его прояснился, все прочие обстоятельства выпали из поля зрения, и память, уставив глаза на детей, принялась рисовать картину, которой предстояло отныне вечно стоять перед ним.

Картина эта представляла маленькую лодочку, блуждающую со своим беспомощным экипажем по синему, залитому солнцем, океану, — прекрасному океану, но не менее и ужасному, ибо он говорил о муках жажды.

Он был даже близок к смерти, когда приподнялся, так сказать, на локте и взглянул на эту картину. Она вернула его к жизни. Сила воли вступила в свои права, и он отказался умереть.

Воля человека, если только она достаточно сильна, способна победить смерть. Лестрэндж не сознавал этого; он знал только, что жизнь приобрела для него жгучий интерес, и перед ним встала великая цель — найти детей.

Точившая его болезнь отступила перед проснувшейся жизненной силой. Он переехал из больницы в Палас-Отель, и там, как командующий армией, принялся строить план кампании против судьбы.

Когда команда *Нортумберланда* в панике ринулась к лодкам, отшвыривая офицеров направо и налево, все бумаги корабля были потеряны; не осталось никаких указаний на долготу и широту места катастрофы. Офицеры все погибли, кроме капитана Лефаржа, в голове которого должен был сохраниться точный план местонахождения судна. Лестрэндж отправился к нему в больницу. Вуйное помешательство миновало. Капитан мирно играл мишкой из цветной шерсти.

Оставался журнал *Араго*: в нем, несомненно, были обозначены широта и долгота подобранных лодок.

Но *Араго* все не прибывал в Папенти. Лестрэндж просматривал списки запоздалых судов день за днем, неделю за неделей, месяц за месяцем; напрасно, ибо *Араго* так и не явился на место назначения. Нельзя даже утверждать, что он погиб; он просто был одним из тех кораблей, которые никогда не возвращаются из плавания.

XLII. Тайна лазури.

Потерять любимого ребенка—величайшее несчастье, которое только может постигнуть человека. Я не говорю о смерти. Ребенок выбежал на улицу или был временно оставлен нянькой,—и вдруг он исчезает. Сердце на миг сжимается, но тотчас рассудок напоминает, что ребенок не может потеряться в городе, что его привезут соседи или полиция. Он может возвратиться каждую минуту. Но минуты идут, а его все нет; день переходит в вечер, и вечер в ночь, и вот занимается заря, и раздаются будничные звуки нового дня.

Вы не можете сидеть на месте от беспокойства; бежите из дома, для того лишь, чтобы тотчас возвратиться,—нет ли вестей? Вы все прислушиваетесь, и всякий звук вас волнует; стук колес на улице, шаги прохожих полны невыразимой грусти, а звуки музыки и веселья кажутся чудовищными, как хохот в аду.

Если бы кто-либо принес вам труп ребенка, вы плакали бы, но благословили бы его: всего ужаснее неизвестность.

Вы сходите с ума, или—продолжаете жить. Года идут, вы уже старик. Вы говорите себе: «Теперь ему было бы двадцать лет».

Местрендж был богатый человек, и у него оставалась та надежда, что детей подобрал встречный корабль. Дело шло о детях, заблудившихся не в городе, а на Тихом океане, и для того, чтобы оповестить о пропаже, требовалось покрыть объявлениями весь мир. В награду за известия о потерянных было назначено десять тысяч долларов, за возвращение их—двадцать; и объявления о том появились во всех газетах, какие только могут попасться на глаза морякам.

Но годы шли, не принося ответа на объявления. Однажды пришло известие о двух детях, спасенных поблизости от Жильбертовых островов, но это оказались другие дети. Случай одновременно удручил и ободрил его, как бы нашептывая: «Если эти дети спаслись, то почему бы не спаслись тем, которых ищешь ты?»

Страннее всего было то, что в глубине души он чувствовал, что они живы. Рассудок рисовал их смерть на двадцать разных ладов; но отуда-то, с великого синего океана, донесился шопот, говоривший, что они живы, и там ожидают его.

Он был одного темперамента с Эмелиной,—такой же мечтатель, с душой, настроенной для восприятия тонких лучей, идущих от духа к духу, и даже исходящих от неодушевленных предметов. Человек с более грубой натурой, быть-может, страдал бы одинаково, но скорее отчаялся бы в поисках. Он же упорствовал, и в конце пятого года не только не отказался от них, но нанял шкуну и колесил полтора года по океану, посещая малоизвестные островки. Раз даже, сам того не зная, он побывал на острове, отстоящем всего за триста миль от Голубой лагуны.

Если вы хотите оценить всю бесплодность подобных розысков, не смотрите на карту Тихого океана, но отправляйтесь туда сами. Сотни и сотни тысяч квадратных лиг воды, тысячи островов, рифов, атоллов...

Он продолжал бы искать и дальше, но побоялся за свой рассудок. За эти полтора года Тихий океан открыл ему свою громадность, свою таинственность и неприкосновенность. За каждой открытой завесой оказывалась другая. Для того, чтобы обыскать водную пустыню с успехом, надо было бы двигаться по всем направлениям сразу.

Нередко он облокачивался на перила и смотрел в воду, как бы допрашивая ее. Потом закат начал гнетом ложиться ему на сердце, и звезды говорить на новом языке, и он понял, что пора ему возвратиться, если он хочет возвратиться с нетронутым рассудком.

Вернувшись в Сан-Франциско, он отправился к своему агенту Ваннемэкеру в Кирней-Стрите, но известий никаких не было.

XLIII. Капитан Фаунтэн.

Лестрэндж занимал целую квартиру в Палас-Отеле и вел обычную жизнь человека богатого, но чуждого светским удовольствиям. Держал он себя вполне рассудительно, и с первого взгляда никто бы не признал в нем чудака. Но случалось ему иногда, во время разговора, внезапно умолкать и впадать в странную рассеянность; нередко, идя по улице, он разговаривал сам с собой, а однажды, на званом обеде, неожиданно встал из-за стола и ушел домой. Подобных мелочей вполне достаточно, чтобы прослыть рехнувшимся.

В один прекрасный день, — а именно второго мая, ровно восемь лет и пять месяцев после гибели *Нортумберленда*, — в кабинет Лестрэнджа прозвонил телефон. Он подошел к аппарату.

— Кто говорит? Лестрэндж? — послышался резкий американский голос. — Говорит Ваннемэкер. Приходите ко мне — у меня для вас новость.

Лестрэндж с минуту продержал трубку в руке, потом положил ее обратно, подошел к стулу и сел, уронив голову на руки. Погода немного, он опять подошел к аппарату, но не решился взять трубку из страха разрушить поворожденную надежду.

— Новость!.. Какой мир возможностей в этом слове!

Долго он простоял перед подъездом конторы Ваннемэкера, прежде чем, наконец, решился войти. В большой комнате стучали пишущие машины; служащие бегали взад и вперед с кучами бумаг. Из-за одного из столов поднялся сам Ваннемэкер и проводил пришедшего в свой личный кабинет.

— Ну, что? — спросил Лестрэндж.

— Всего лишь вот это, — сказал тот, взяв в руку листок бумаги с адресом. — Симон Фаунтэн, проживающий в 45-м номере Ратрей-Стрит, пишет, что прочел ваше объявление в старой газете, и полагает, что имеет кое-что вам сообщить.

— Я пойду к нему, — сказал Лестрэндж.

Он вышел из конторы, не сказав слова благодарности своему агенту, даже не простившись с ним; но тот слишком хорошо знал своего клиента, чтобы чувствовать себя обиженным.

Ратрой-Стрит состоял до землетрясения из ряда чистеньких домиков морского пошиба; № 45 ничем не отличался от других, и Лестрэнджу отворила степенная женщина средних лет, должно-быть, также весьма заурядная, но ему она не показалась заурядной.

— Дома мистер Фаунтэн?—спросил он.—Я пришел по поводу объявления.

— Пожалуйте, сэр,—сказала она, приглашая его зайти в маленькую прихожую.—Капитан в постели; он очень болен, но он так и думал, что кто-нибудь зайдет, и может вас принять вемного погодя, если вам все равно подождать.

— Благодарю,—сказал Лестрэндж,—я могу подождать.

Он ждал восемь лет,—что такое в сравнении несколько минут? Но ни разу еще за все эти восемь лет он не испытывал такого томления, ибо сердце его чуяло, что именно здесь, в этом заурядном домике, из уст мужа этой заурядной женщины он услышит то, чего боялся, или то, что надеялся услышать.

Какая это была удручающая комнатка! И такая чистая, как будто никто никогда не пользовался ею. На камине стояла модель корабля под стеклянным колпаком; около были разложены раковины; на стене висели картины на морские темы,—словом, все было как полагается в жилье старого моряка.

Из последней комнаты доносился шорох, доказывавший, что там готовятся к его приему. Сквозь дешевую тюлевую занавеску виднелся квадрат света, смутно воспроизводивший ее узор на противоположной стене. Внезапно на окне проснулась муха и принялась жужжать и биться о стекло, и Лестрэнджу вдруг неудержимо захотелось, чтобы пришли за ним.

Человек его темперамента неизбежно должен страдать от столкновения с жизнью, даже в самых счастливых условиях. Люди, с которыми свела его теперь судьба, были, несомненно, добрые люди. Самое объявление и весь вид посетителя могли бы пояснить им, что не время медлить,—а между тем его заставляли дожидаться, пока оправят постель и уберут склянки с лекарством,—как будто он способен был их заметить!

Наконец, дверь отворилась, и женщина сказала:

— Пожалуйте сюда, сэр.

На кровати, с громоздившимся под одеялом непомерно вздутым животом, лежал чернобородый человек. На одеяле были протянуты большие, деятельные, но бесполезные руки,—руки, жаждущие труда, но лишенные его. При входе посетителя он медленно повернул к нему голову.

— Вот тот джентльмен, Симон,—сказала женщина через плечо Лестрэнджа, после чего удалилась, затворив за собой дверь.

— Садитесь, сэр,—сказал капитан.—Не имею удовольствия знать вашу фамилию, но хозяйка говорить, что вы пришли насчет того объявления, которое подвернулось мне третьего дня.

Он взял лежавшую рядом с ним сложенную бумажку и подал ее посетителю. Это был трехлестний *Сиднейский Бюллетень*.

— Да,—промолвил Лестрэндж, глядя в газету,—это мое объявление.

— Ну-с,—продолжал капитан Фаунтэн,—очень странно, что подвернулось оно мне всего лишь третьего дня. Три года к ряду пролежало на дне сундука со всяким хламом, и так бы и лежало до окончания века, когда бы не то, что моя хозяйка принялась перетряхивать сундук, а я вижу газету, да и говорю ей:—Подай-ка ее сюда!—Ведь человек, пролежавший, как я, восемь месяцев в постели с водянкой, готов читать, что пошло! Работал я в китоловах сорок битых лет, и последний мой корабль был *Морской Конь*. Лет семь с лишним тому назад, один из моих матросов подобрал одну вещину на взморье островка,—из тех островков, что разбросаны на восток от Маркизских, сошли мы тогда на берег запасти водой...

— Да, да!—нербил Лестрэндж.—Что же такое вы нашли?

— Хозяйка!—рывкнул капитан голосом, от которого затрястились все стены.

В дверях показалась женщина.

— Достань мне ключи из кармана брюк.

Брюки висели на стенке кровати, словно дожидаясь, что их сейчас наденут. Женщина достала вязку ключей, и он долго возился, пока выбрал один из них. Потом передал его жене, указывая на стоявшее напротив бюро.

Она, очевидно, знала, в чем дело, так как сейчас же отперла ящик и достала перевязанную бечевой картонку, которую и вручила ему. Он развязал бечевку и вынул из картонки детский чайный сервиз: чайник, сливочник, шесть тарелочек; на каждом из этих предметов был нарисован цветочек анютиных глазок.

Это была та картонка, которую Эмелина вечно теряла, и потеряла безвозвратно, в конце-концов.

Лестрэндж закрыл лицо руками. Он узнал эти вещицы: Эмелина однажды показала их ему в порыве откровенности. Они приплы к нему с вестью с беспредельного океана, всю ширь которого он тщетно исколесил в поисках, и тайна их появления потрясла и уничтожила его.

Капитан расставил вещицы на развернутой на постели газете и вынул ложечки из папирусной бумаги. Потом пересчитал их, как бы сдавая в них отчет, и также положил на газету.

— Где вы нашли их?—спросил Лестрэндж, все еще не открывая лица.

— Лет семь с лишним назад,—начал капитан,—пристали мы, чтобы запасти водой, к одному островку к югу от экватора. Среди китоловов он зовется Островом Пальмы,—из-за пальмы, которая растет у входа в лагуну. Один из матросов нашел эту штуку в шалаше из сахарного тростника, который люди, кстати, разнесли, потехи ради.

— О-о-о!—простонал Лестрэндж. И никого,—ничего там не было, кроме этой коробочки?

— Люди говорили, что ни слуху ни духу, и что шалаш, очевидно, заброшен, мне самому недосуг было высаживаться.

— Как велик остров?

— Да порядочный-таки. Туземцев там нет. Я слышал—что остров этот *табу*, по какой-то прихоти дикарей. Так или иначе, вот моя паходка. Узнаете вы ее?

— Узнаю.

— Странно, что она попалась мне,—продолжал капитан,—странно, что вы выпустили объявление, а ответ на него все время валялся с моим скарбом: но такова уж жизнь!

— Странно!—повторил тот.—Это более чем странно...

— Возможно, конечно,—продолжал капитан,—что они где-нибудь скрывались на острове, возможно, что и теперь они находятся там, без вашего и моего ведома.

— Они там,—отвечал Лестрэндж, уставясь на игрушки, словно читая в них скрытую весть.—Они там. У вас имеется положение острова?



Капитан расставил вещицы на постели.

— Как же. Хозяйка, подай сюда мой шканечный журнал!

Она достала из бюро толстую засаленную книжку и подала ему. Он нашел страницу и прочел долготу и широту.

— Я сделал заметку в тот же день,—вот она: «Адамс притащил на борт коробку с детскими игрушками из покинутого шалаша, который люди разметали, и продал мне ее за рюмку вина». Плавание продолжалось еще три года восемь месяцев; где тут помнить про находку? Зашли мы потом в Нантукет починиться, а затем снова в путь. В Гонолулу напала на меня водянка—и я вернулся домой. Вот и весь сказ. Толку в нем мало, но все же, как увидал я ваше объявление, подумал себе: посмотрим, не выйдет ли чего.

Лестрэндж пожал ему руку.

— Вы видели, какую я предложил награду?—сказал он.—У меня нет с собой чековой книжки, но не позже, как через час, чек будет у вас.

— Ну, нет!—возразил капитан.—Если что из этого выйдет, я не прочь от маленького вознаграждения; но десять тысяч долларов за коробку в пять центов,—нет, я не из такихых!

— Я не могу заставить вас принять теперь деньги,—сказал Лестрэндж, не могу даже поблагодарить вас по настоящему,—я сам не свой. Но когда все будет решено, мы с вами поладим...

Он опять закрыл лицо руками.

— Не считите меня слишком любопытным,—сказал капитан Фаунтэн, тщательно укладывая сервиз обратно,—но смею ли спросить, что вы полагаете предпринять?

— Я тотчас же найму корабль и примусь за поиски.

— Н-да,—поддакнул моряк, задумчиво заворачивая ложечки.—Так, пожалуй, будет лучше всего.

В душе он был убежден, что розыск останется бесплодным, но чувствовал, что Лестрэндж не успокоится, пока не получит неопровержимых доказательств.

— Вопрос в том,—продолжал Лестрэндж,—как мне скорее попасть туда?

— Думается, что могу вам помочь,—ответил Фаунтэн.—Вам нужна быстроходная шхуна, а если не ошибаюсь, таковая как раз теперь разгружается на пристани Селливана. Хозяйка!

Вошла его жена. Лестрэндж чувствовал себя как во сне, и эти люди, принимавшие участие в его делах, представлялись ему сверхчеловеческими благодетелями.

— Сходи посмотри, дома ли капитан Станнистрит.

Она вышла.

— Он живет несколько домов отсюда,—продолжал Фаунтэн. Лучший, моряк, когда-либо выходивший из Фриско *), а *Раратонга*—лучший корабль, когда-либо плававший по морю. Владелец его—Мак Вити. О, он сдаст его самому сатане, лишь бы цена была хорошая!

Чего только он у него не возил: и свиней и миссионеров!.. Подойдет вам *Раратонга* как нельзя лучше,—в том ручается Симон Фаунтэн; и если позволите, я, не сходя с постели, оборудую вам его и договорю людей, да подешевле, чем эти окающие агенты! Не спорю, возьму с вас за комиссию, но меня интересует и самое дело...

В коридоре послышались шаги, и вошел капитан Станнистрит. Это был подвижной человек лет тридцати, с живыми глазами и приветливым лицом. Лестрэнджу он понравился с первого же взгляда.

Дело сразу заинтересовало его.

— Пойдемте со мной на пристань,—предложил он.— Я могу сейчас же показать вам судно.

Пристань Селливана была недалеко. *Раратонга*, стройный и изящный, как видение, блистая белоснежными палубами, стоял у набережной, выгружая медный купорос.

*) Фриско—сокращенное Сан-Франциско.

— Вот мой корабль,—сказал Станнистрит,—груз почти весь уже выгружен. Как он вам нравится?

— Я беру его по какой угодно цене,—объявил Лестрэндж.

XLIV. Н а ю г е.

Больной капитан так быстро повел дело, что уже десятого мая *Раратонга* вышел из Золотых ворот и пустился в путь со скоростью десяти узлов.

Ничто не может сравниться с плаванием на парусном судне, в особенности больших размеров. Широкие паруса, бесконечно высокие мачты, тонкость, с которой улавливается и обращается на пользу малейший ветерок,—все это навеки остается в памяти. Шкуна—царь всех судов, а *Раратонга* была признанным царем всех шкун Тихого океана.

В первые дни они шли хорошо, потом ветер стал переменчивым, сбивая их с прямого пути к югу.

Кроме лихорадочного возбуждения, Лестрэнджа томил еще глубоко затаенная в душе тревога, как если бы тайный голос шептал ему, что детям угрожает какая-то опасность.

Противный ветер как бы раздувал эту тайную тревогу, подобно тому, как раздувает глеющие уголья. Так продолжалось несколько дней, после чего судьба внезапно смиростивилась: бодрый попутный ветерок занел в снастях, и *Раратонга* кужжа пустилась по волнам, оставляя за собой расходящийся веером след.

Так они сделали пятьсот миль, бесшумно и быстро, как во сне. Потом вдруг ветер спал.

Океан и воздух застыли. Неподвижный небосвод навис над ними паотным бледно-голубым куполом. Линия далекого горизонта охватывалась кольцом прозрачных облаков. Время от времени гладкая поверхность воды моричилась рябью, и мимо проходили полосы темных водорослей; смутные очертания всплывали сверху и, почуяв присутствие человека, медленно погружались и растворялись в воде...

Прошло два дня—два невозвратных дня. Утром третьего дня повело с северо-северо-запада, все паруса напряглись, и снова послышалось журчание воды у носа.

Капитан Станнистрит был не только знатоком своего дела; это был также, к счастью для Лестрэнджа, человек воспитанный и образованный, а что еще того важнее, человек с отзывчивой душой.

Раз как-то они вместе прохаживались по палубе, когда Лестрэндж, молча шагавший, заложив руки за спину, внезапно нарушил молчание.

— Вы не верите в видения и сны?

— Почему вы так думаете?—возразил тот.

— О, я только сказал так, в виде вопроса. Ведь большинство людей утверждают, что не верят в них.

— Да, но большинство верит.

— Я верю,—подтвердил Лестрэндж.

С минуту он помолчал.

— Вам хорошо известно, в чем мое горе, и я не стану надоедать вам повторением; но за последнее время на меня нашло странное чувство,—я как бы грежу наяву. Не могу вполне объяснить, но мне представляется, будто я вижу что-то, чего мой разум не в силах истолковать.

— Я не совсем вас понимаю.

— Да и не можете. Мне пятьдесят лет, а к этим годам человек уже успеет испытать все обычные и необычные ощущения, доступные человеческому существу. Но никогда еще мне не приходилось испытывать ничего подобного. Думается, что я вижу так, как может видеть новорожденный младенец, и передо мной стоит *нечто*, чего я не могу уразуметь. Вижу я это *нечто* не плотскими своими глазами, а сквозь какое-то окошко в моей душе, с которого сдернули завесу.

— Странно,—проговорил Станнистрит, который не совсем понимал его.

— Это *нечто*,—продолжал Лестрэндж,—говорит мне, что опасность угрожает...

Он помолчал немного, затем, к великому облегчению Станнистрита, продолжал:

— Но вы сочтете меня помешанным! Оставим видения и предчувствия и перейдем к действительности. Вам известно, каким образом я потерял детей; известно, что я надеюсь застать их там, где капитан Фаунтэн нашел их следы? Он говорил, что остров необитаем, но не был уверен в том.

— Верно,—сказал Станнистрит,—он говорил только о самом берегу.

— Итак, предположите, что на противоположной стороне острова обитали туземцы, которые и взяли этих детей.

— Тогда они выросли бы среди туземцев.

— И стали бы дикарями?

— Да. Но полинезийцев в сущности нельзя назвать дикарями; они вполне порядочные малые. Я ведь не мало околачивался среди них. Большинство теперь цивилизованы. Разумеется, не все; но все же, если бы даже предположить, что детей увели «дикари», как вы их называете...

У Лестрэнджа перехватило горло: именно это и было у него на уме, хотя он не решился высказаться.

— Ну?

— Ну, с ними обращались бы хорошо.

— И воспитали бы, как дикарей?

— Надо полагать.

Лестрэндж вздохнул.

— Послушайте-ка,—сказал капитан,—можно говорить все, что угодно, но даю вам слово, что напрасно мы так задираем нос перед дикарями и тратим на них зря столько жалости.

— Как так?

— Что надо человеку,—ведь только быть счастливым?

— Положим, что так.

— А кто счастливее голого дикаря в теплом климате? О, этого счастья хоть отбавляй. Он в высокой степени джентльмен, он обладает совершенным здоровьем; живет жизнью человека, рожденного, чтобы жить лицом к лицу с природой. Солнце светит ему не сквозь конторское окно, и луна—не сквозь

дым фабричных труб. Он счастлив; но скажите мне, где он? Белые его вытеснили; можно еще найти его на двух, трех островах,—так, кое-какие крохи.

— Предположим,—сказал Лестрэндж,—что эти дети выросли лицом к лицу с природой...

— Ну?

— Жили свободной жизнью...

— Ну?

— Просыпались под звездами...—он говорил с остановившимися глазами, как бы созерцая что-то очень далекое,—ложились вместе с солнцем, вечно купаясь в этом чистом воздухе, обвевающем нас теперь. Предположим, что оно так... Не было ли бы жестокостью вернуть их к так называемой цивилизации?

— По-моему, да!—сказал Станнистрит.

Лестрэндж промолчал, продолжая шагать по палубе, с понуренной головой и заложенными за спину руками.

Оджды на закате Станнистрит сказал:

— Мы теперь находимся за двести сорок миль от острова, считая с полуденного расчета. Даже и при теперешнем ветре мы делаем по десяти узлов, и должны быть на месте завтра в это время дня, даже раньше того, если ветер посвежеет.

— Я очень расстроен,—сказал Лестрэндж.

Он спустился в каюту, а моряк тряхнул головой и, прислонившись к перилам, стал смотреть на великолепный закат, суливший опытному глазу прекрасную погоду.

Потру ветер слегка упал, но в течение всей ночи он дружно дул не переставая, и *Раратонга* много миль прошла за это время. Около одиннадцати часов ветер начал спадать и превратился в легчайшее дуновение, едва достаточное, чтобы наполнить паруса и поддерживать бурлящий сзади след. Внезапно Станнистрит, разговаривавший в это время с Лестрэнджем, взлез на вышки бизань-мачты и заслонил глаза рукой.

— Что такое?—спросил Лестрэндж.

— Лодка. Передайте мне, пожалуйста, бинокль.

Он навел бинокль и долгое время смотрел, не говоря ни слова.

— Это маленькая лодочка, плывущая по течению, без людей. Нет, погодите! Что-то белеется внутри, но не разберу—что. Эй, там!—обратился он к рулевому,—держи слегка к штирборту.—Он спустился на палубу.

— Мы идем прямо на нее.

— А есть в ней кто-нибудь?—спросил Лестрэндж.

— Невозможно рассмотреть, но я спущу вельбот и приведу ее.

Он приказал приготовить вельбот и посадить в него людей.

По мере приближения, удалось разобрать, что в уносимой течением лодке, похожей на судовую шлюпку, находилось что-то, но что именно нельзя было рассмотреть.

Достаточно приблизившись, Станнистрит остановил шкуну, замершую на месте с трепещущими парусами. Сам он сел на носу вельбота, Лестрэндж на корме. Спустили вельбот и налегли на весла.



Маленькая шлюпка являла печальный вид, плывя по воле волн. Она казалась не крупнее капитановой скорлупы. В тридцать взмахов весел, пос ведабота коснулся ее кормы. Станнисгрит ухватился за шкафут.

На две шлюпки лежала девушка, совсем нагая, за исключением юбочки из пестрой материи. Одна из ее рук обвивала шею другого существа, зановину скрытого ее телом, другая прижимала отчасти к себе, отчасти к своему соседу, тело маленького ребенка. Очевидно, туземцы, случайно отбившиеся от какой-либо между-островной шкуны. Грудь их спокойно поднимались и опускались, а в руке девушки была стиснута древесная ветка, с единственной засохшей ягодой.

— Мертвые?—спросил Лестрандж, угадавший, что в шлюпке находятся люди, и старавшийся заглянуть в нее, стоя на корме.

— Нет!—сказал Станнисгрит.—они спят.

К О Н Е Ц.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

	Стр.
I. В чаду керосиновой лампы	3
II. Под звездами	6
III. Тень и пожар.	8
IV. Развеялся, как греза	10
V. Голоса в тумане.	13
VI. Заря на беспредельном океане.	16
VII. Шенандоа.	19
VIII. Тени при луне	23
IX. Трагедия на лодках	26
X. Остров	28
XI. Лазоревое озеро.	30
XII. Смерть под кровом мхов.	34
XIII. Лазоревые картинки	37
XIV. Поэзия науки.	38
XV. Боченок дьявола	43
XVI. Охота на крыс	45
XVII. Звездный блеск на пене.	46
XVIII. Уснувший на рифе	48
XIX. Цветочная гирлянда.	50
XX. Одни	52
XXI. Переселение	—
XXII. Под сенью хлебных деревьев	54
XXIII. Полудитя-полудикарь.	55
XXIV. Жизнь кораллового рифа	48
XXV. Что скрывалось под красотой	60
XXVI. Бой барабана.	63
XXVII. Паруса на море.	66
XXVIII. Шкуна	69
XXIX. У подножия „Каменного Человека“.	71
XXX. Исчезновение Эмелины.	74
XXXI. Новый пришелец	77
XXXII. Гаина.	78
XXXIII. Лагуна в огне	80

	Стр.
XXXIV. Циклон	81
XXXV. Опустошенные леса	84
XXXVI. Поверженный идол	85
XXXVII. Экспедиция.	86
XXXVIII. Хранитель лагуны.	88
XXXIX. Рука океана	89
XL. Вместе	90
XLI. „Сумасшедший“ Лестрандж	—
XLII. Тайна лазури	92
XLIII. Капитан Фаунтен	93
XLIV. На юге	98

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. МОСКВА.

Нечаев, Е. Сургаль-Все. Повесть из казмыцкой жизни. Стр. 45.

" " Из песен старого рабочего. С порт. автора и вступ. статей В. Полянского. Стр. 200.

Обрадович, С. „Октябрь“. Стихи. Стр. 30.

Ходасевич, В. Тяжелая лира. (4-ая книга стихов 1921—1922 г.) Стр. 60.

Цветаева, М. Царь-девица. Повесть-сказка. С рис. Д. Митрохина. Стр. 159.

Версты. Изд. 1922 г. Стр. 122.

Путешествие в Веймар. (Изд. 1923 г.) Стр. 114.

Раковина, Г. Стихи. (Изд. 1921 г.) Стр. 114.

Драматургия.

Луначарский, А. Канцлер и слесарь. Пьеса. Стр. 86.

" " Фома Кампанелла. Героическая драма. Стр. 132.

" " Освобожденный Дон-Кихот. С иллюстрац. Н. И. Пискарева. Изд. 1922 г. Стр. 147.

Мартинз, М. Ночь. Драма. Перев. С. Городецкого. Предисл. Л. Троцкого. Рис. Г. Пастра. Стр. 120.

Роллан, Р. Лилии. Лирическая драма. Перев. В. Брюсова. С рис. в тексте. Стр. 214.

Рейснер, М. Бог и биржа. Сборник революционных пьес. Стр. 140.

Смолин, Д. Триумфальное шествие. Анекдотические прелюдии к опыту психологии вояков и войны. Ч. I. Стр. 286.

Смолин, Д. и Галицкий, Я. Железная пята. Инсценир. романа Д. Лондона. Стр. 48.

Ясвицкий, В. Храм солища. Трагедия. Стр. 48.

Торговый сектор Государственного Издательства:

Москва, Ильинка, Биржевая площадь, уг. Богоявленского пер., № 4.

Телефоны 1-57-57, 47-35.

Розничная продажа:

- 1) Светская площадь, под гостиницей «Дрезден»; 2) Моховая, 17;
- 3) Б. Никитская, 13 (консерватория); 4) Никольская, 3.

504

2p 07

